This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

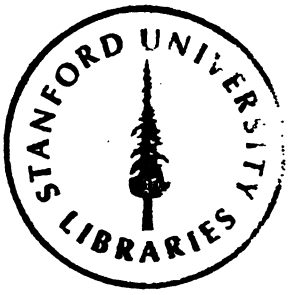
О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

115

115

I
1264



Tolstoï, L. L.

ПРЕЛЮДІЯ ШОПЕНА

и

ДРУГІЕ РАЗСКАЗЫ:

Первый ребенокъ.—Помѣщикъ.—Сонъ.

Л. Л. Толстого.

Русская Библіотека въ Гельсингфорсѣ
Библіотека Общества Русской Школы въ Финляндіи
Столъ
№

МОСКВА.
Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°, Пименовская ул., соб. д.
1900.

PG 3470
T65 P74
1100

Дозволено цензурою. Москва, 24 іюня 1900 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

«Прелюдія Шопена» была написана мною нѣсколько лѣтъ назадъ и, долженъ сказать, была написана сначала вовсе не какъ возраженіе «Крейцеровой Сонатѣ», а просто, какъ выраженіе, горячо занимавшихъ меня въ ту пору, мыслей. Форму антитезы «Крейцеровой Сонаты» разсказъ принялъ уже при послѣднемъ его редактированіи.

Выпуская его теперь въ отдѣльной книжкѣ, вмѣстѣ съ другими моими разсказами, я не отказываюсь отъ основныхъ мыслей, выраженныхъ въ немъ, не отказываюсь отъ мысли, что ранній бракъ—великое благо, что стремленіе къ полному цѣломудрію не имѣетъ смысла, разъ полное цѣломудріе человѣчества невозможно и ведетъ къ прекращенію его рода; что цѣлью нашей жизни должно быть не стремленіе къ полному цѣломудрію, а стремленіе къ раннему, чистому и цѣломудренному браку.

Поэтому отвѣтъ «Крейцеровой Сонатѣ» и ея «Послѣсловію», какъ они ни сильны художественно и, какъ ни сильно выражены въ нихъ отрицательныя стороны брачныхъ отношеній,—одинъ: выводъ ихъ ошибоченъ.

Идеаломъ въ нихъ поставлено то, что не можетъ имъ быть. Идеаломъ въ вопросѣ половыхъ отношеній не можетъ быть поставлено ихъ уничтоженіе, потому что это уничтожаетъ

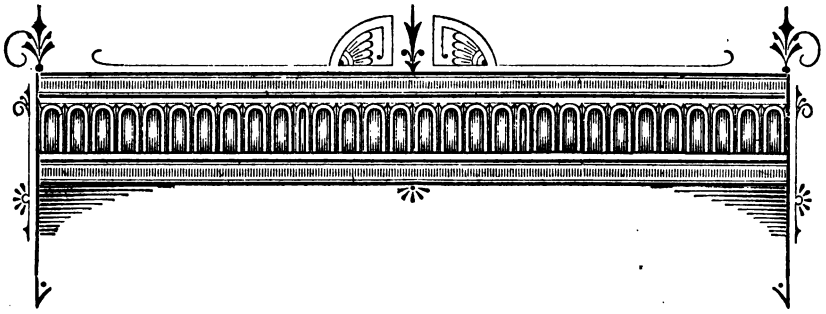
тогда самое понятіе этого идеала и приводитъ къ логической нелѣпости.

Признаюсь, что тонъ, въ какомъ написанъ разсказъ «Прелюдія Шопена», могъ бы быть спокойнѣе, что это было бы лучше, и мнѣ жаль, что я отдался нѣкоторому чувству раздраженія. Но что сдѣлано, то сдѣлано.

При другомъ тонѣ, я, можетъ быть, не сумѣлъ бы быть вполнѣ искреннимъ, когда писалъ разсказъ.

6 мая 1900 года.

Л. Л. Толстой.



Прелюдія Шопена.

(РАЗСКАЗЪ).

Посему оставитъ человѣкъ отца своего и мать, и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ двое одна плоть.

(Быт. 2, 24. Посл. къ Ефес. 5, 31. Ев. Мат. 19, 5).

I.

У графини Трубовой былъ прощальный танцовальный вечеръ. Она устроила его для своихъ трехъ взрослыхъ племянницъ, которыя на другой же день уѣзжали къ себѣ въ деревню.

Всю зиму прожила ея сестра, княгиня Барецкая, въ Москвѣ со своими дочерьми, всю зиму вывозила ихъ, ради нихъ чуть ли не черезъ день принимала у себя гостей и сильно истратилась, но желаемыхъ результатовъ она такъ и не достигла.

Теперь, когда онѣ завтра уѣзжали, конечно уже надѣяться почти не на что было.

Въ Москвѣ оказалось еще меньше жениховъ, чѣмъ тамъ даже, у нихъ въ провинціи. Правда, было нѣсколько молодыхъ людей «настоящихъ», съ именемъ, положеніемъ и состояніемъ, но поймать ихъ было не легко. Или они были изъ легкомысленныхъ, кутящихъ и мало думавшихъ о женитьбѣ, или они были слишкомъ серьезны и рѣдко показывались въ свѣтѣ, или,

что чаще всего наблюдала княгиня Барецкая, вотъ-вотъ, казалось, попадался человѣкъ, вотъ-вотъ сдѣлаетъ предложеніе, и вдругъ, ни съ того ни съ сего, повернется и былъ таковъ. Кавалерами въ Москвѣ оказались студенты. Этихъ было сколько угодно. Они и плясали на балахъ, и дирижировали на нихъ. Они и ухаживали и занимали сердца московскихъ барышень; ими одними держалось оживленіе въ такъ называемомъ московскомъ свѣтѣ.

Но какіе же это были женихи? Развѣ такихъ легкомысленныхъ младенцевъ, у которыхъ еще молоко на губахъ не обсохло, безъ опыта, положенія, чаще всего и безъ состоянія, желала княгиня въ мужья своимъ дочерямъ?

Графиня Трубова, однако, не соглашалась со своей сестрой въ вопросѣ о студентахъ. Она не разъ замѣчала ей, что студенчествомъ и вообще юношами не слѣдуетъ брезговать, что отъ нихъ можно ожидать болѣе прочной и искренней привязанности къ ихъ будущимъ женамъ, нежели отъ людей пожившихъ и повидавшихъ; что вообще не надо препятствовать имъ сходиться съ молодыми дѣвушками, потому что изъ этого ничего не можетъ быть, кромѣ хорошаго. Графиня при этомъ приводила нѣсколько ей знакомыхъ примѣровъ счастливаго брака, въ которыхъ мужьями были совсѣмъ молоденькіе, только-что оперившіеся, какъ она выражалась, студентики. Но княгиня мало обращала вниманія на эти слова сестры, и такъ какъ постоянная, мучившая ее около десяти лѣтъ, забота о замужествѣ дочерей ей страшно надоѣла, она только мечтала о томъ, чтобы поскорѣе пристроить ихъ, и естественно представляла себѣ при этомъ настоящихъ жениховъ съ болѣе опредѣленнымъ положеніемъ, нежели студенческое.

Идеаломъ мужа для своихъ дочерей княгиня представляла себѣ какого-нибудь молодого предводителя дворянства, которыхъ было нѣсколько въ числѣ ея знакомыхъ, молодого, богатаго помѣщика или земскаго начальника, а если въ городѣ—

чиновника особыхъ порученій, военнаго, тоже со средствами, конечно. Но чѣмъ нетерпѣливѣе относилась она къ этому вопросу, чѣмъ больше она волновалась, говорила комплиментовъ, кому было нужно, льстила, ухаживала и чѣмъ холоднѣе обращалась съ не-женихами, которыхъ всегда боялась, тѣмъ меньше было ей удачи и тѣмъ злѣе, казалось, судьба смѣялась надъ нею, оставляя на ея рукахъ дочерей.

Одинъ настоящій женихъ, графъ Востицъ, бывшій военный и богачъ, первый московскій кавалеръ, совсѣмъ было увлекся средней княжной Маней, но потомъ, Богъ знаетъ почему, охолодѣлъ. Старшая, тридцатитрехлѣтняя дочь Анна, почти красавица, умница, чудная будущая жена, какъ думала про нее княгиня, совсѣмъ было сошлась съ Шубинскимъ, холостякомъ сорока трехъ лѣтъ и съ лысиной во всю голову, но онъ вдругъ уѣхалъ въ свою деревню, даже не простившись съ ними.

Младшая, Сонечка, все кокетничала со студентами, которые всю зиму вились около нея толпой. Уѣздный б—скій предводитель тоже было нріударилъ за ней и, пожалуй, даже женился бы скорѣе другихъ, но Сонечка только трунитъ надъ его длиннымъ носомъ и говоритъ, что онъ похожъ на Донъ-Кихота. Ее гораздо сильнѣе тянетъ ко всѣмъ этимъ безусымъ юношамъ, студентамъ.

«Ну, да Сонечка еще подождетъ. О ней-то рано печалиться, она со своею живостью всегда успѣетъ найти себѣ хорошаго мужа, а вотъ Манечку бы какъ-нибудь или Анну!»

Такъ думала княгиня Барецкая и теперь, сидя въ дверяхъ просторной гостиной, рядомъ съ хозяйкой, своей сестрой, и другими почтенными московскими мамашами, расположившимися большимъ полукругомъ за ними. Надушенныя и разряженныя, съ вѣерами въ рукахъ, многія съ нескромно открытыми старыми шеями и въ то же время съ фальшивыми зубами во рту и мертвыми волосами на головахъ, онѣ любовались на своихъ дочекъ и сыновей, танцовавшихъ передъ ними въ

большой, ярко освѣщенной залѣ графини Трубовой. Мужчины, ихъ мужья, сидѣли въ дальнихъ комнатахъ за карточными столами и мало интересовались танцами.

Кончали четвертую и послѣднюю кадриль. Вечеръ былъ во всемъ разгарѣ,—послѣдній веселый вечеръ въ этотъ сезонъ. Завтра, когда княгиня Барецкая покинетъ Москву, безъ нея и ея дочерей свѣтъ замѣтно порѣдѣетъ и успокоится. Къ тому же пройдутъ послѣдніе три дня Святой, и вся молодежь, главные танцоры, засядетъ за экзамены.

Знали это почти всѣ, бывшіе теперь на вечерѣ, и потому, пользуясь послѣднею возможностью, многіе танцовали съ большимъ воодушевленіемъ.

— Ахъ, ахъ,—прошептала съ волненіемъ княгиня Барецкая, глядя на высокую фигуру графа Востица, только-что показавшуюся въ дверяхъ залы съ клакомъ подъ мышкой и золотымъ пенснэ на носу,—вдругъ сегодня! Вдругъ за этимъ пріѣхалъ. Кто знаетъ. Les mariages se font dans les cieux. Послѣдняя ставка иногда выручаетъ. Это та же рулетка. Но эта Маня, Боже мой, какая дура, какая непростительная дура. Она говоритъ, что ей вовсе не хочется особенно выходить замужъ теперь, что ей этого хотѣлось гораздо больше пять лѣтъ тому назадъ. Совсѣмъ было онъ попался, и такъ выпустить изъ рукъ. Чуть-чуть бы еще жару. Вѣдь какъ онъ ухаживалъ за нею въ началѣ зимы.

Графъ Востицъ съ улыбочкой оглядѣлъ залу своими близорукими узенькими глазами и пошелъ здороваться съ хозяйкой.

— Grand rond!—закричалъ дирижеръ изо всѣхъ силъ.

Дорогой, извѣстный въ Москвѣ таперъ отлично, съ большимъ увлеченіемъ, игралъ теперь шестую фигуру кадрили.

— Grand rond!!—повторилъ дирижеръ совсѣмъ охрипшимъ голосомъ.

Это былъ Бѣликовъ, высокій, бѣлокурый студентъ, модный филологъ и бѣлоподкладочникъ, но славный и простой маль-

чикъ, какъ про него говорили. Онъ былъ уже на четвертомъ курсѣ, имѣлъ состояніе и потому имъ, какъ рѣдкимъ исключеніемъ изъ числа студентовъ, не слишкомъ пренебрегали московскія мамаши. Ему оставалось очень немного до положенія настоящаго жениха и это хорошо чувствовалось по тому апломбу и развязности, съ какими онъ держалъ себя. Обыкновенно бываетъ, что студенты послѣднихъ курсовъ почти перестаютъ выѣзжать въ свѣтъ и плясать на вечерахъ, Бѣликовъ же не слѣдовалъ этому правилу, и поэтому къ нему благоволили въ обществѣ, особенно хозяйки домовъ.

— Les dames tournent!—продолжалъ онъ дирижировать,— corbeille! Крюковъ! Крюковъ! Что ты, батенька, запутался,— les dames tournent encore!— закричалъ онъ сердито и властно,— et chaîne double à gauche et plus d'entrain, plus d'entrain, s'il vous plaît! И у Бѣликова такъ и раскатывался голосъ, такъ и гремѣло французское «r», и все его тѣло подергивалось въ тактъ музыки.

Живости было довольно и во всѣхъ остальныхъ танцовавшихъ. Лица раскраснѣлись, со лбовъ струился потъ, и пестрыя пары такъ и мелькали одна за другой.

Послѣ chaîne Бѣликовъ закрутилъ такую мудреную фигуру, что, казалось, невозможно было распутать ее.

Всѣ столпились въ одну кучу. Крюковъ, одинъ изъ самыхъ молодыхъ студентовъ, небольшого роста, но коренастый и сильный, на видъ съ необыкновенно простымъ, почти дѣтскимъ лицомъ, танцовавшій съ младшей княжной, почувствовалъ, что его такъ стѣснили теперь сзади, что онъ совсѣмъ вплоть былъ прижатъ къ своей дамѣ.

Колѣни ея упирали въ его ноги и грудь ея прижалась къ его груди. Дирижеръ силился распутать фигуру. Онъ, выпучивъ глаза и стирая потъ съ лица, молча тащилъ за собой свою даму, старшую княжну, которая добродушно улыбалась своимъ выцвѣтшимъ, скорбнымъ лицомъ.

— Ну, ну, какъ онъ выпутается,—говорилъ Крюковъ своей дамѣ, счастливый отъ такой близости съ ней и желая, чтобы она длилась возможно дольше.

— Вы устали?

— Нѣтъ,—отвѣчала княжна Сонечка.—Вы устали?

Она, вся живая, какъ ртуть, подпрыгивала на мѣстѣ въ тактъ музыки и помахивала его рукой въ своей, тихонько ее пожимая. Кругленькое лицо ея сіяло счастіемъ.

— А вы пріѣдете къ намъ въ деревню?—продолжала она вполголоса, не глядя на него и черезъ почти закрытыя губы,—непремѣнно пріѣзжайте. Слышите?

— Ваша мать не приглашала меня,—сказалъ Крюковъ такъ, чтобы другіе не могли слышать его.

— Я васъ приглашаю и мама тоже васъ пригласитъ, я скажу ей...

— Спасибо,—сказалъ Крюковъ.

И, продолжая чувствовать прикосновеніе ея молодого, трепетавшаго подлѣ него, нѣжнаго тѣла, онъ совсѣмъ потерялъ голову въ эту минуту. Глядя въ ея подвижное, вѣчно подвижное, личико, со вздернутымъ носомъ и темными, блестящими глазами,—лицо, которое всѣ находили некрасивымъ, онъ видѣлъ въ немъ столько жизни, молодости и силы, что онъ оторваться отъ него не могъ. Онъ не могъ не любоваться Сонечкой и объ одной ей только и думать.

Да, онъ былъ влюбленъ въ нее, отчаянно влюбленъ, вотъ уже четвертый мѣсяцъ. Онъ почувствовалъ это давно, еще тогда, когда они катались вечеромъ на конькахъ на Патріаршихъ прудахъ, но теперь, когда онъ зналъ, что она завтра уѣзжаетъ, что въ послѣдній разъ, можетъ быть, онъ видитъ ее, держитъ въ своей рукѣ ея тонкую руку въ перчаткѣ, какое-то не то бѣшенство, не то отчаяніе овладѣвало имъ и грусть щемила внутри.

«Зачѣмъ это? За что?» спрашивалъ онъ себя.

И онъ не понималъ хорошенько, отчего нельзя ей навсегда остаться съ нимъ, разъ они любятъ другъ друга и это даже ясно всѣмъ постороннимъ.

— Et valse, s'il vous plaît,—скомандовалъ дирижеръ совсѣмъ шопотомъ: такъ онъ накричался. Онъ хотѣлъ этимъ распутать и закончить послѣднюю запутавшуюся фигуру кадрили. Всѣ разступились. Таперъ сейчасъ же заигралъ извѣстный вальсъ Вальдтейфеля, передѣланный изъ цыганской пѣсни: «Мнѣ такъ отрадно съ вами!» Крюковъ обнялъ свою даму за тонкую талію и, не помня себя, понесся съ ней по залѣ. Ея рука лежала у него на плечѣ и теплое дыханіе касалось его лица. Онъ провальсировалъ съ ней два тура и послѣдній, когда уже всѣ сидѣли на своихъ мѣстахъ, подлетѣлъ къ стулу и посадилъ на него Сонечку.

— Ухъ, устала,—сказала она, поправляя упавшую на глазъ прядь волосъ и встряхивая головкой.

Онъ сѣлъ подлѣ нея и сказалъ:

— Такъ вы завтра уѣзжаете? Зачѣмъ это? Не уѣзжайте, останьтесь.

— Какъ же это?

Она чуть-чуть улыбалась, часто дыша своей молоденькой грудью и смотря ему въ глаза сочувственнымъ, грустнымъ взглядомъ.

Онъ видѣлъ въ эту минуту, что она вся, всѣмъ существомъ своимъ была готова отдаться ему, навѣки соединить съ нимъ свою жизнь.

— Regarde un peu ta fille cadette,—въ это же время шепнула своей сестрѣ графиня Трубова,—ils s'aiment!

— Пускай,—снисходительно улыбнулась княгиня, поморщившись,—завтра вѣдь я увожу ее. Вѣдь этотъ художникъ Крюковъ, его отецъ, n'a pas le sou? Да?

— Насколько я слышала,—сказала графиня,—но ты совсѣмъ неисправима dans vos opinions; помилуй, онъ отличный мальчикъ, музыкантъ, симпатичный, нравственный.

— Можетъ быть. Тѣмъ хуже.

— Мнѣ жаль Сонечки,—сказала графиня съ чувствомъ (у нея не было дѣтей и потому она лучше другихъ понимала и знала молодежь),—всѣ эти увлеченія—они всегда оставляютъ потомъ такую горькую rancune.

— Пройдетъ. Все это проходитъ двадцать разъ въ такіе годы. Мало ли. Что жъ ты хочешь? Vous voulez les marier?

И княгиня, отвернувшись, махнула рукой по воздуху, точно не стоило и говорить о такомъ пустомъ предметѣ. Конечно, ей и въ голову никогда не могла придти мысль о серьезной возможности брака Сонечки съ этимъ двадцатилѣтнимъ мальчикомъ Крюковымъ, qui n'a pas le sou и который, въ числѣ другихъ студентовъ, танцовалъ съ ея дочерьми эту зиму и ѣздилъ къ нимъ въ домъ.

II.

Скоро началась мазурка. Крюковъ танцовалъ ее съ некрасивой и толстой Рдевской, плохо занималъ свою даму и былъ разсѣянъ. Онъ не спускалъ глазъ съ Сонечки, которая танцовала съ корнетомъ Бухановымъ.

Этотъ офицеръ, со своими подкрученными кверху черненькими усиками и нахальнымъ взглядомъ, былъ до противности непріятенъ Крюкову. Онъ страшно ревновалъ къ нему. Онъ зналъ къ тому же, что не дальше, какъ вчера, этотъ Бухановъ въ самомъ отчаянномъ обществѣ студентовъ и другихъ молодыхъ людей ѣздилъ въ самыя темныя, гадкія мѣста, гдѣ они пропадали всю ночь. Они отправились туда отъ Бѣликова, гдѣ и Крюковъ былъ вчера вечеромъ и гдѣ играли въ карты и пили.

Но самъ онъ ни въ карты не игралъ, не пилъ и тѣмъ болѣе никуда не ѣздилъ. Во-первыхъ, на все это у него не было денегъ, во-вторыхъ, даже если бы онѣ и были, хотя

онъ и ходилъ къ такимъ товарищамъ, какъ Бѣликовъ, когда они приглашали его,—онъ держалъ себя какъ-то въ сторонѣ, не принимая участія въ ихъ кутежахъ. Не то, чтобы онъ изъ принципа воздерживался отъ вина, женщинъ и игры, просто онъ чувствовалъ ко всему этому отвращеніе и инстинктивно боялся и оберегалъ себя отъ всего дурного. Товарищи поддразнивали иногда Крюкова за его нравственность, но они мало приставали къ нему и, разъ онъ отказывался участвовать въ какомъ-нибудь ихъ весельѣ, они оставляли его въ покоѣ, зная, что отъ него другого не добьешься.

«И вотъ этотъ Бухановъ,—думалъ теперь Крюковъ со злобою и ненавистью, которыя душили его,—этотъ развратный, грязный офицеришка, извалявшійся во всей этой грязи только нынче ночью, ухаживаетъ за Сонечкой, за его Сонечкой. Онъ наклоняется къ ней, дышитъ однимъ съ ней воздухомъ, смотритъ въ ея лицо. Какъ онъ смѣетъ это? Какъ хватаетъ у него наглости?»

И Крюковъ продолжалъ мучиться и бѣшено ревновать къ этому офицеру, такъ увѣренному, очевидно, въ себѣ, въ своей красотѣ и неотразимости. Ему хотѣлось бы сейчасъ, сію минуту разсказать всему свѣту о томъ, какой этотъ Бухановъ и что кроется въ немъ за его усиками и выпуклою грудью.

Между тѣмъ онъ хорошо замѣчалъ, что княгиня Барецкая нѣсколько разъ уже съ довольной улыбкой смотрѣла въ сторону Сонечки и ея новаго кавалера.

«Конечно, какого же ей еще жениха нужно для дочери? У Буханова есть все: и имя, и состояніе, и положеніе, и даже наружность».

Крюковъ сердился, такъ что у него дрожали руки.

Послѣ мазурки былъ поданъ ужинъ. Сонечка опять сидѣла рядомъ съ Бухановымъ, очень далеко, на другомъ концѣ залы. Крюковъ продолжалъ безпрестанно взглядывать на нихъ.

— Что это васъ такъ занимаетъ на томъ столѣ?—спросила его неожиданно добродушная Рдевская.—Вы заинтересованы, кажется, младшей княжной?

«Какая ты дуреха», хотѣлъ ей отвѣтить Крюковъ, но воздержался и вмѣсто этого сказалъ:

— Нѣтъ, я смотрю, нѣтъ ли тамъ еще салата.

Наконецъ ужинъ кончился и сейчасъ же за нимъ начался котильонъ, послѣдній танецъ въ этотъ вечеръ. Страданія Крюкова прекратились. Онъ танцовалъ теперь опять съ Сонечкой, и когда онъ взялъ ее подъ руку и повелъ на занятое имъ мѣсто въ углу залы, онъ почувствовалъ, что снова оживаетъ.

Но первыя минуты онъ не зналъ, что говорить ей.

Когда она сѣла, онъ нагнулся къ ней и проговорилъ:

— Вы не знаете, княжна, какъ я мучился сейчасъ...

— Отчего?

— Зачѣмъ вы обѣщали мазурку этому...

Она удивилась, точно совсѣмъ не ожидала отъ него такихъ рѣчей, и отвѣтила съ живостью:

— Я не могла не обѣщать ему. Онъ пригласилъ меня еще третьяго дня на пріемномъ днѣ. Мнѣ очень жалко, что вамъ было непріятно. Пожалуйста, не сердитесь на меня.

— Я не сержусь, но мнѣ было такъ больно видѣть васъ такъ близко отъ него.

— Отчего?.. Онъ такой разговорчивый.

— Оттого, что...—Крюковъ запнулся и наконецъ сказалъ:—что вы чистая, хорошая, а онъ такой, что вамъ даже знать объ этомъ нельзя...

Онъ выговорилъ послѣднія слова такъ горячо, что она невольно вся повернулась къ нему и пристально посмотрѣла ему въ глаза.

— А вы? — вдругъ спросила она серьезно и тихо, точно сообразивъ что-то,—вы какъ я или какъ онъ?

— Какъ вы, — также тихо отвѣтилъ Крюковъ и весь густо покраснѣлъ.

Она еще разъ взглянула ему въ глаза нѣжнымъ, благодарнымъ взглядомъ и, порывисто сжавъ ему руку, весело вскочила на ноги.

— Пойдемте,—сказала она.

Началась общая мазурка.

Только въ три часа ночи гости стали разъѣзжаться отъ графини Трубовой.

Молодые люди одни изъ послѣднихъ гурьбой подошли проститься къ двумъ сестрамъ хозяйкамъ, подлѣ которыхъ теперь въ гостиной сидѣли всѣ три княжны, усталыя и немного поблѣднѣвшія. Старый графъ Трубовъ, маленькій сѣдой старичокъ, сидѣлъ тутъ же на диванѣ, очевидно, досыта наигравшійся за вечеръ въ винтъ.

— Вы позволите завтра проводить васъ на вокзалъ?— обратился къ княгинѣ Бухановъ, стоя впереди другихъ. За нимъ подошли графъ Востицъ, б—скій предводитель, потомъ Бѣликовъ, Суходинъ, князь Палицынъ и Крюковъ, всѣ четверо послѣднихъ студенты. Изъ нихъ одинъ Крюковъ былъ не въ парадномъ мундирѣ.

— Очень рады,—сказала княгиня,—и вотъ дочери тоже. Поѣздъ отходитъ въ двѣнадцать. У насъ все уложено, только ѣхать.

— Мы ужасно будемъ «пакать», — шутя сказалъ графъ Востицъ, обтирая потъ съ краснаго лица (онъ танцовалъ котильонъ съ княжной Маней, къ большому волненію княгини).

— Это отъ васъ зависитъ—плакать или нѣтъ,—двусмысленно сказала княгиня.

Молодые люди всѣ до одного приложились къ ручкамъ графини и княгини, расшаркались передъ старымъ графомъ и княжнами и вышли изъ гостиной.

III.

На другой день они, какъ хотѣли, всѣ пріѣхали на Курскій вокзалъ провожать княгиню Барецкую. Она и ея дочери были уже въ вагонѣ.

Было безъ пяти минутъ двѣнадцать и поѣздъ сейчасъ долженъ былъ отойти. Графиня и графъ Трубовы и около нихъ старый элегантный дядюшка графини стояли на платформѣ, подъ окномъ вагона, въ которое княгиня теперь высунула свое широкое, расплывшееся лицо, съ тройнымъ подбородкомъ. Она съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ смотрѣла на толпу жениховъ, стоявшую немного дальше, подлѣ тормоза, на который вышли всѣ три княжны.

— Pourquoi est-ce que vous ne les prenez pas avec vous?— спросилъ княгиню дядюшка, нагнувшись къ ея уху.

— Demandez!—отвѣтила княгиня,—c'est tout bonnement bête!

— Elle est trop difficile,—сказала графиня Трубова.

— Да, матушка, difficile,—своей немного грубоватой манерой передразнила ее княгиня,—тебѣ хорошо говорить, когда у тебя всего и заботы, что о благовѣрномъ, — она указала глазами на графа,—а мнѣ ужъ это дѣло вотъ гдѣ сидитъ— par dessus la tête. И за какимъ, съ позволенія сказать, удовольствіемъ,—княгиня совсѣмъ понизила голосъ,—они таскались всю зиму?

— Я ужъ не знаю, не имѣла своего опыта,—сказала графиня Трубова, обращаясь больше къ дядюшкѣ,—но я нахожу, что надо не брезговать юнцами, а, главное, не пропускать дорогого времени. Я всегда это говорила. А она уже пропустила время для старшихъ дочерей, то же самое будетъ и съ младшей.

— Глупости,—обидѣлась княгиня,—ты все глупости говоришь. Такъ пріѣдете въ Ивановку? Непремѣнно, я буду ждать.

Почти та же самая фраза слышалась и съ другого конца вагона.

— Такъ пріѣдете? Непремѣнно, непремѣнно,—говорили всѣ три княжны за разъ, обращаясь къ молодымъ людямъ, въ числѣ которыхъ были всѣ вчерашніе кавалеры, не исключая и б — скаго предводителя съ длиннымъ носомъ, похожаго на Донъ-Кихота.

— Мнѣ въ іюлѣ нельзя,—говорилъ графъ Востицъ.

— А мнѣ въ августѣ нельзя,—говорилъ Бухановъ,—хотя княгиня и звала именно въ этомъ мѣсяцѣ.

— И вы тоже, Иванъ Павловичъ? — обратилась Сонечка къ Крюкову, который нерѣшительно приблизился къ вагону, когда увидѣлъ, что она хотѣла что-то сказать ему.

Онъ хотѣлъ ей отвѣтить на это, что онъ пріѣхать не можетъ, потому что старая княгиня отдѣльно и лично его не приглашала, а пригласила всѣхъ гурьбой, но ему было совѣстно объявить это громко предъ товарищами.

— А вы когда вернетесь въ Москву?—спросилъ онъ вмѣсто этого.

— Не знаю, мама думала, можетъ быть, ѣхать за границу.

И Сонечкино лицо приняло грустное выраженіе.

Въ это время засвистѣлъ свистокъ оберъ-кондуктора, молодцевато прошагавшаго мимо. Сейчасъ же за нимъ загудѣлъ паровозъ.

— Такъ обѣщаете, пріѣдете? — сказала Сонечка, быстро нагнувшись черезъ желѣзку и протягивая руку Крюкову. — До свиданія, смотрите! Я жду!

Онъ подскочилъ къ ней, сжалъ ея руку такъ, что она чуть не вскрикнула отъ боли, и молча поклонился, снявъ фуражку. Поѣздъ тронулся.

Крюковъ не шевелясь смотрѣлъ на Сонечку и она въ упоръ жадно смотрѣла на него, не смущаясь тѣмъ, что сестры улыбались на нее, а Бухановъ подмигивалъ товарищамъ.

Они смотрѣли такъ другъ на друга, пока не потеряли другъ друга изъ виду.

Поѣздъ скрылся за поворотомъ, а Крюковъ все стоялъ на своемъ мѣстѣ съ фуражкой въ рукахъ и смотрѣлъ впередъ.

— Что, батенька, задумался? О чемъ?—вдругъ услышалъ онъ надъ собой голосъ Буханова, и чья-то рука легла ему на плечо.

Онъ вздрогнулъ и опомнился.

Всѣ товарищи его стояли подлѣ него, закуривая папироски.

Крюкову стало стыдно за свою забывчивость, и онъ опять покраснѣлъ до ушей. Онъ надѣлъ фуражку и сказалъ:

— Не люблю вообще, когда уѣзжаютъ.

— Особенно, когда уѣзжаетъ...—сказалъ Бухановъ.

— Хорошая семья,—докончилъ ему Крюковъ.

И онъ подумалъ, что Барецкія, особенно молодыя княжны, дѣйствительно хорошіе люди, съ которыми онъ желалъ бы жить весь вѣкъ.

Выйдя изъ вокзала, молодые люди распрощались и на извозчикахъ разъѣхались парами въ разныя стороны.

Одинъ Крюковъ, жившій на другомъ концѣ Москвы и который былъ бѣднѣе всѣхъ остальныхъ, пошелъ домой пѣшкомъ. Его товарищъ по курсу, Сухонинъ, хотѣлъ подвезти его, но Крюковъ отказался, чувствуя желаніе и потребность пройтись и остаться въ одиночествѣ. Онъ сознавалъ, что что-то очень важное и очень грустное только-что случилось въ его жизни, и что это несчастіе понималъ и могъ понять, какъ слѣдовало, только одинъ онъ.

Сонечка уѣхала, и онъ больше не увидитъ ее. Она звала его и надѣется, что онъ пріѣдетъ къ нимъ въ деревню, но на одно только ея приглашеніе ѣхать невозможно. Развѣ онъ не понимаетъ, что княгиня нарочно не пригласила его отдѣльно, лично, какъ Буханова и Востица, потому что она не

желаетъ его знакомства, боится его. Стало быть, Сонечка уѣхала совсѣмъ и, можетъ быть, никогда больше онъ не встрѣтится съ ней въ жизни.

А между тѣмъ?..

Между тѣмъ, съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ ее, съ тѣхъ поръ, какъ почувствовалъ, что и она ласково относится къ нему и, можетъ быть, когда-нибудь могла бы сдѣлаться его женой, жизнь его круто перемѣнилась. Она стала осмысленной, въ ней явилась цѣль, сразу поднявшая его духъ и силы.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ познакомился съ Барецкими, Крюковъ сталъ и бодрѣе, и оживленнѣе, и веселѣе. Онъ сталъ заниматься, совсѣмъ пересталъ думать о женщинахъ и вполнѣ удовольствовался мечтами о Сонечкѣ.

А теперь?

Теперь опять онъ остался одинъ, совсѣмъ одинъ, съ пустотой въ сердцѣ. Опять ничего свѣтлаго и радостнаго не осталось въ его жизни, нѣтъ ничего впереди.

Но почему же онъ утратилъ ее, не удержалъ ее себѣ? Отчего онъ не женился на ней, если она такъ серьезно заняла его мысли?

Какъ! ему, Ванѣ Крюкову, бѣдному студенту второго курса, живущему мальчикомъ въ домѣ отца въ какой-то конурѣ въ концѣ коридора, ему жениться на княжнѣ Барецкой?

Какъ же это? Стало быть, взять ее къ нимъ въ домъ и жить съ ней въ его комнатѣ? Или выйти изъ университета? Или что? А что же скажутъ на это его домашніе—отецъ, мать, сестра? А сама Сонечка, развѣ бы она согласилась теперь выйти за него замужъ противъ воли матери, сестеръ, его родителей и всего міра? Что же? стало быть, надо силой и тайно увозить ее, вѣнчаться съ ней? И потомъ развѣ можно вѣнчаться студентамъ? На это нужно разрѣшеніе, для этого нужно хлопотать, возиться. Откуда же у него возьмутся силы на все это? Какъ и къ чему приступить?

— Нѣтъ, нѣтъ,—повторялъ про себя Крюковъ,—видно, его положеніе таково, что жениться ему совсѣмъ невозможно. Онъ еще ребенокъ, онъ еще не доросъ.

«Да какъ же не доросъ?—спрашивалъ себя Крюковъ вслѣдъ за этимъ, — какой же онъ ребенокъ, когда онъ любитъ ее, любитъ страстно? Когда отъ этого весенняго воздуха и солнца, отъ избытка силъ у него дыханіе захватываетъ въ груди и онъ знаетъ, что только Сонечка, только одна близость съ нею могутъ успокоить и оживить его? Неужели же все это блажь отъ бездѣлія и воображенія? Неужели же нельзя жить безъ мысли о женщинѣ? Жить-то хоть и можно, но какъ? Чѣмъ? Что же остается ему? Семья, въ которой всѣ члены живутъ отдѣльною эгоистическою жизнью и дѣла никому нѣтъ другъ до друга? Университетъ, занятія, товарищи? Занятія, которыя всѣ противны ему, за немногими исключеніями? Товарищи, съ которыми онъ ни съ однимъ не сошелся и не сдружился, какъ раньше ожидалъ этого, которые всѣ расходятся съ нимъ по взглядамъ, привычкамъ, по всему? Музыка? Да, вотъ она, пожалуй, она одна еще остается ему какъ что-то хорошее, радостное, утѣшительное. Онъ непремѣнно еще займется ею лѣтомъ, когда освободится отъ экзаменовъ. А Сонечка? Неужели надо, дѣйствительно, забыть ее?»

И Крюкову становилось больно при этой мысли.

Онъ быстро шелъ по знакомымъ улицамъ, перепрыгивая кое-гдѣ черезъ лужи между тротуарами, и тревожныя, невеселыя мысли вертѣлись у него въ головѣ.

IV.

Придя домой, Крюковъ заперся въ своей комнаткѣ и до пяти часовъ читалъ скучнѣйшія лекціи по сравнительному языковѣдѣнію. Потомъ онъ обѣдалъ, и когда всѣ вышли изъ сто-

ловой и прошли въ гостиную, гдѣ былъ приготовленъ карточный столъ, онъ сѣлъ за фортепіано.

Онъ раскрылъ наугадъ одну изъ тетрадей Шопена и началъ играть первую попавшуюся ему 15-ю изъ 24-хъ прелюдію—Sostenuto. Онъ игралъ ее съ большимъ чувствомъ и вкусомъ.

Въ это время его отецъ прошелъ черезъ столовую съ колодой картъ въ рукахъ.

— Какая славная эта Prélude,—сказалъ онъ,—какая простота и въ то же время сила. Ты сегодня отлично играешь.

— Да? тебѣ нравится?—спросилъ Крюковъ.

— А эти княжны твои уѣхали?—еще спросилъ его отецъ.

— Уѣхали.

— И ты огорченъ? Не стоитъ, братъ, мало ли на свѣтѣ этого добра. Не жениться же тебѣ теперь?

И съ этими словами отецъ Крюкова скрылся въ слѣдующей комнатѣ.

«Мало ли этого добра на свѣтѣ,—повторилъ за нимъ Крюковъ.—Вотъ, вотъ что онъ получаетъ отъ отца, какъ помощь и поддержку въ такую минуту. Впрочемъ, развѣ онъ пойметъ его?»

«Не жениться же тебѣ?—еще повторилъ онъ мысленно за отцомъ,—конечно. Какъ же ему иначе смотрѣть на это?»

И, чтобы успокоиться, Крюковъ съ силой заигралъ слѣдующую прелюдію шестнадцатую—Presto con fuoco, которую онъ зналъ наизусть.

Когда онъ былъ взволнованъ, ничто не успокаивало его такъ, какъ музыка, и тогда все, что было у него на душѣ, онъ вкладывалъ въ звуки, не заботясь о томъ, слушаютъ ли его или нѣтъ, какъ это случалось съ нимъ, когда онъ игралъ безъ настоящей потребности.

Онъ просидѣлъ теперь у фортепіано около часа. Потомъ онъ опять пришелъ въ себя и сѣлъ за лекціи.

Но послѣ игры онъ былъ слишкомъ возбужденъ, и память

его совсѣмъ не работала. Поэтому онъ рѣшилъ выйти изъ дома и еще пройтись куда-нибудь.

Заглянувъ въ гостиную, гдѣ теперь царилъ винтъ съ возгласами: пасъ, три пики, четыре безъ козырей, въ чемъ участвовала даже его сестра, онъ вышелъ въ переднюю и сталъ одѣваться.

Дѣвушка Матрена, хорошенькая и здоровая, съ глянцевитымъ лицомъ и бойкими движеніями, сейчасъ же выскочила изъ своей комнатки помочь ему.

— Пройтиться,—сказала она фамильярно, прожевывая что-то и обтирая ротъ рукой.

Крюковъ только посмотрѣлъ на нее недовольно и сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ. Онъ торопливо пошелъ направо по улицѣ, чувствуя потребность двигаться что было въ немъ мочи.

Было около 7-и часовъ вечера. Наступали весеннія сумерки съ легкимъ морозцемъ и сильнымъ чистымъ воздухомъ.

«Куда же онъ пойдетъ? Къ кому? Кому бы онъ могъ разсказать все, что у него на сердцѣ? Кому пожаловаться?»

Крюковъ поискалъ въ памяти человѣка, который былъ бы совсѣмъ близокъ ему, и не нашелъ никого.

«Самые близкіе ему люди, люди кровнаго родства, и тѣ не понимаютъ и не поймутъ его. Разсказать все матери, сестрѣ? Онѣ, если не осмѣютъ его, начнутъ его отговаривать, не повѣрятъ серьезности его настроенія и мыслей. Поговорить съ отцомъ?

«Онъ уже показалъ сейчасъ свое отношеніе къ нему. Онъ чуткій, онъ понялъ его состояніе, но зато никто не будетъ такъ жестоко холоденъ и безразличенъ къ нему на дѣлѣ.

«Писать самой Сонечкѣ, которая, можетъ быть, одна только пойметъ его? Съ ней посовѣтоваться? Но о чемъ? Сказать, что онъ любитъ ее и что не можетъ на ней жениться».

Выйдя изъ переулочка на одинъ изъ московскихъ бульва-

ровъ, Крюковъ вспомнилъ, что недалеко отъ этого мѣста жилъ его товарищъ Комковъ.

Давно уже, мѣсяца три, пожалуй, онъ не заходилъ къ нему, а между тѣмъ ни съ кѣмъ иногда не говорилось такъ хорошо и просто, какъ съ нимъ.

«Что онъ? — подумалъ Крюковъ, — какъ его дѣла и настроеніе?

И онъ завернулъ въ слѣдующій знакомый ему переулокъ съ бульвара.

Комковъ былъ медикъ третьяго курса, сынъ учителя гимназіи, умершаго нѣсколько лѣтъ назадъ.

Умный и способный, Комковъ пользовался большою популярностью въ университетѣ и одно время, а именно прошлою зимой, страстно занимался дѣломъ студенческихъ землячествъ. Онъ попался въ какой-то исторіи еще на первомъ курсѣ, но послѣднее время присмирѣлъ и много занимался. Прошлою весной онъ ухитрился на какіе-то гроши съѣздить за границу, отъ которой остался въ восторгѣ.

— Дома Александръ Ивановичъ?—спросилъ Крюковъ, когда знакомая горничная отперла ему дверь небольшой квартиры, въ которой жили Комковы.

— Дома. Только они теперь не съ нами живутъ, — отвѣчала горничная, — они поженились и во флигерь перешли отдѣльно. Вонъ туда.

— Неужели? И давно?—удивился Крюковъ.

— Второй мѣсяцъ. Нузикову барышню себѣ взяли. Вы не знаете?

— Нѣтъ, не знаю,—сказалъ Крюковъ.

— Онѣ изъ купчихъ, только образованная барышня, хорошая. Вотъ пожалуйте.

И горничная указала на полуразвалившійся и покосившійся на бокъ сѣрый одноэтажный флигелекъ на дворѣ, болѣе похожій на дворницкую сторожку, чѣмъ на домъ.

Крюкову теперь еще болѣе захотѣлось повидать товарища въ его новой обстановкѣ. Онъ спрашивалъ себя, почему же онъ ушелъ съ большой квартиры, гдѣ, стало быть, оставались только его мать да старшій, тоже недавно женившійся, братъ. Онъ подошелъ къ двери флигелька и позвонилъ за простой звонокъ на проволокѣ.

Въ ту же минуту на порогѣ показалась молоденькая женщина, худенькая и блѣдная, очень просто одѣтая въ гладкое черное платье.

Крюковъ спросилъ ее, дома ли Комковъ.

— А, это ты!—тогда раздался громкій голосъ изъ, слѣдующей за крошечною переднею, комнатки,—узнаю, узнаю, давно не былъ у меня.

И самъ Комковъ, высокій и широкоплечій, въ студенческой тужуркѣ, со всклокоченными бѣлокурыми волосами, замѣтно перемѣнившійся и посвѣжѣвшій въ лицѣ съ тѣхъ поръ, какъ Крюковъ видѣлъ его въ послѣдній разъ, вышелъ навстрѣчу товарищу.

— Я не стѣсню тебя?—спросилъ Крюковъ.

— Стѣснишь? Это почему? Познакомься: моя женя, Крюковъ, товарищъ еще по гимназіи,—сказалъ онъ просто.

— Я такъ пораженъ видѣть тебя женатымъ. Никакъ не ожидалъ.

— Да, да; вотъ, братъ, tempora mutantur et nos cum illis! А ты, говорятъ, пустился въ свѣтъ, аристократомъ сталъ, танцуешь всякіе «танецы»? Такъ? Ну, а не думаешь слѣдовать моему примѣру?

— Что, жениться?

И Крюковъ почему-то засмѣялся, какъ бы желая показать этимъ смѣхомъ, что онъ никакъ еще не могъ думать о такой, неподходящей ему, вещи. Но смѣхъ его вышелъ неестественный; Комковъ это замѣтилъ.

— Напрасно, братъ,—сказалъ онъ серьезно,—отчего не думаешь, рано или трудно?

— И то и другое, — отвѣтилъ Крюковъ, входя теперь за хозяевами въ крошечную комнатку, опрятно убранную, гдѣ на столѣ кипѣлъ самоварчикъ и стояли варенье и хлѣбъ.

Въ слѣдующей каморкѣ, занавѣшенной отъ той, куда они вошли, занавѣской, были видны черезъ отверстіе двѣ кровати, стоявшія совсѣмъ рядомъ.

— Спросилъ разрѣшенія у начальства, сходилъ къ батькѣ, вотъ и вся трудность, — сказалъ Комковъ, садясь на диванчикъ и принимаясь набивать папиросы—занятіе, отъ котораго, вѣроятно, онъ только-что оторвался.

— И больше ничего?—спросилъ Крюковъ.

— А что жъ тебѣ еще надо! Вотъ видишь, устроили себѣ департаменты и живемъ превосходно; питаемся чѣмъ Богъ послалъ, занимаемся, пока счастливы, а завтра будетъ то, что будетъ, но, во всякомъ случаѣ, теперь уже будетъ то, что слѣдуетъ.

— А почему же ты перешелъ сюда изъ той вашей квартиры?

— Тамъ своя жизнь, — сказалъ Комковъ, — вѣдь старшій братъ тоже женился, зачѣмъ же намъ изъ жизни дѣлать кашу. Нѣтъ, ужъ лучше каждый пусть отдѣльно!

— И ты доволенъ?

— Вполнѣ.

— Вотъ какъ вы ему угодили, — обратился Крюковъ къ своей сосѣдкѣ, которая съ кроткой улыбкой протягивала ему теперь стаканъ чаю. Онъ вспомнилъ почему-то въ эту минуту Сонечку; онъ находилъ, что эта рожденная Пузикова была похожа на нее, особенно въ глазахъ и фигурѣ. Но Сонечка была гораздо живѣе какъ будто.

— Она тутъ не при чемъ,—сказалъ Комковъ, указывая на жену,—мнѣ угодила бы точно такъ же всякая другая молодая, здоровая, хорошая и не противная мнѣ дѣвушка, кабы судьбѣ угодно было послать мнѣ не мою жену, а другую. Онѣ всѣ одинакія. Ты этого не думаешь?

— И вы не обижаетесь? — удивленно спросилъ Крюковъ, обращаясь къ молодой Комковой.

— Я? Нѣтъ. Что вы! За что же я буду обижаться? Это онъ такъ, вѣдь, только говоритъ, шутя.

— Какъ шутя, нѣтъ! я такъ думаю, — сказалъ Комковъ, — и обиднаго тутъ ничего нѣтъ. Моя жена—дѣвица, какъ дѣвица, окончила гимназію, читаетъ и объясняется кое-какъ по-французски, играетъ на «фортопьяно»,— дѣло не въ этомъ. Не въ томъ, какая будетъ твоя жена,—это вопросъ счастія, одному лучше попадетъ, другому хуже,—а дѣло въ насъ самихъ, въ нашемъ отношеніи къ браку и въ правильномъ разрѣшеніи имъ полового вопроса. Только тогда можетъ успокоиться человѣкъ, можетъ почувствовать, что онъ сталъ на свое настоящее мѣсто и полностью началъ жить, дѣйствовать и быть полезнымъ. Только съ этого времени можно продолжать нравственно расти и развиваться.

По-моему, неженатый человѣкъ или, какъ голодная собака, мечется, суетится, кидается во всѣ стороны и только глупитъ, ничего путнаго не дѣлая на свѣтѣ, или это развратная обезьяна, утратившая все человѣческое. Тутъ середины не можетъ быть; тогда это уже не мужчина, а тряпка.

— Ты круто выражаешься, — засмѣялся Крюковъ.

— Это истинная правда,— горячо подхватилъ Комковъ,— чѣмъ же намъ тогда отличаться отъ животныхъ, отъ обезьянъ хотя, какъ не разумнымъ и сознательнымъ отношеніемъ къ своей природѣ и ея требованіямъ. Отчего мы знаемъ, что, когда мы голодны, надо ѣсть, а не знаемъ, что, когда время пришло, надо жениться? Впрочемъ, мы и перваго закона еще не знаемъ и не блюдемъ хорошенько. Часто люди голодаютъ, дѣлаютъ разныя глупости съ голода, сердятся, болѣютъ и ищутъ спасенія не въ ѣдѣ, а въ лѣкарствѣ или еще Богъ знаетъ въ чемъ. И пока ты холостъ, ты голодаешь, — голодаешь и физически, и, главное, духовно.

V.

— Да, братъ,—продолжалъ Комковъ,—жениться для нашего брата—это первое дѣло; не даромъ говорится; женился—перемѣнился. Я еще скажу: женился—отрезвился, женился—съ неба свалился, женился—успокоился и посильнѣлъ. Совсѣмъ другой взглядъ устанавливается на міръ и людей, совсѣмъ другая душа дѣлается. Холостой—полчеловѣка, по русской старинной пословицѣ.

— Ого,—сказалъ Крюковъ,—это отъ тебя-то такія рѣчи!

— Въ гимназіи еще слѣдовало жениться!—воскликнулъ Комковъ.—Кабы я раньше постигъ секретъ жизни, который отъ насъ прямо-таки старательно скрываютъ и затемняютъ всячески, развѣ бы я женился такъ поздно?

— Какъ затемняютъ?—не понялъ Крюковъ.

— Всячески. Хоть бы тѣмъ уже, что съ малолѣтства пріучаютъ насъ превратно и съ какою-то таинственною запретностью смотрѣть на половые вопросы; тѣмъ, что, читая о грѣхопаденіи перваго человѣка, мы привыкаемъ смотрѣть на это, какъ на дѣйствительный грѣхъ, на что-то запрещенное, когда это, въ сущности, только неизбѣжная физіологическая потребность человѣческаго организма, безъ которой не было бы и самого человѣка на землѣ и отъ котораго зависитъ и его психическое равновѣсіе и даже развитіе. Вѣдь подумай только, какой это абсурдъ считать грѣхомъ то, отъ чего мы произошли, то самое святое въ мірѣ, что дало тебѣ дыханіе, жизнь, вселило въ тебя твою святую, божественную душу. А между тѣмъ мы считаемъ, что это что-то стыдное, что объ этомъ надо умалчивать, втихомолку это рѣшать и обдумывать, тогда какъ ничто на свѣтѣ не требуетъ такого открытаго, гласнаго обсужденія всюду—въ семьѣ, въ обществѣ, въ парламентахъ. Не даромъ въ Индіи высшимъ божествомъ считалась эта сила, производящая жизнь, и люди поклонялись ей всюду. Не даромъ у древне-римскихъ юристовъ бракъ признавался естественнымъ

правомъ, природнымъ (jus naturale), которое вытекало изъ плотскаго влеченія половъ другъ къ другу. Не даромъ у древнихъ персовъ считалось за стыдъ и позоръ безбрачіе, и законы Зендъ-Авесты грозили за него мученіемъ въ загробной жизни. Вотъ это я понимаю.

Крюковъ улыбался. Молодая Комкова тоже снисходительно улыбалась и продолжала слушать мужа и держать себя при этомъ такъ непринужденно и просто, что Крюкову съ перваго же раза показалось легко съ ней, точно онъ зналъ ее всю свою жизнь.

— Ты улыбаешься, — горячо продолжалъ Комковъ, — ну, такъ слушай, все тебѣ выложу, что у меня на душѣ скопилось по этому вопросу; право, тутъ больше трагическаго, чѣмъ смѣшного. Я думаю, что какъ только наступаетъ для человѣка, мужчины или женщины, время половой зрѣлости, какъ только возникаютъ въ его душѣ вопросы, какъ слѣдствіе этой зрѣлости, такъ ему сейчасъ же нужно разрѣшать ихъ такъ или иначе. И человѣкъ, не разрѣшившій этого дѣла естественно и правильно, т.-е. бракомъ, начиная со времени, о которомъ я сейчасъ сказалъ, и до конца дней своихъ—несчастный, неясный и неполный человѣкъ. Кто-то сказалъ—кажется, Лѣсковъ—что до тѣхъ поръ ты не знаешь до конца человѣка, пока не узнаешь половой стороны его жизни. И въ этомъ великая правда. Вѣдь нѣтъ на свѣтѣ ни одного мало-мальски здороваго неженатаго человѣка,—конечно, у котораго кровь, а не сыворотка въ жилахъ,—хотя бы убѣленнаго сѣдинами, который былъ бы вполнѣ, до чистоты свободенъ отъ мысли и заботы о женщинѣ. Тогда это святой, а такихъ немного.

— Стало быть, нужна ранняя женитьба, — сказалъ Крюковъ,—и тогда все будетъ хорошо. Но вѣдь какъ это трудно, сколько къ этому препятствій; забота о матеріальномъ обезпеченіи, отношеніе къ этому семьи, будущее. А развѣ можно жениться, когда учишься? Я думаю, тогда выйдетъ ни то, ни се. Вѣдь...

— Какъ разъ наоборотъ,—перебилъ его Комковъ,—только когда ты женишься, ты и начнешь учиться по-настоящему, и увидишь, что до этого ты не выучился ничему. Знаешь, говорятъ: не хочу учиться, хочу жениться! По-моему, не слѣдуетъ понимать это такъ, что юноша хочетъ жениться для того, чтобы не учиться, а наоборотъ,—онъ хочетъ жениться для того, чтобы онъ сталъ въ состояніи учиться. Я бы измѣнилъ эту поговорку такъ: «не могу я учиться, пока не даютъ жениться». И по себѣ знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ я вотъ взялъ ее себѣ, — онъ опять указалъ глазами на жену, — я просто не узнаю себя въ дѣлѣ ученія. Откуда что взялось? Ясный умъ, память, смекалка! Моя мамаша говоритъ, что это все хорошо, пока дѣтей нѣтъ, а вотъ, погоди, они начнутъ орать, да бѣгать, да приставать, тогда только я послушаю, молъ, какъ ты запоешь... Только еще лучше будетъ,—убѣжденно продолжалъ Комковъ,—заботы, правда, можетъ быть, и прибавится, зато силъ еще въ сто разъ привалитъ. Въ этомъ тоже секретъ брака, конечно, настоящаго, честнаго; секретъ, о которомъ холостяки, напримѣръ, и не подозрѣваютъ, въ томъ, что, женившись, человѣкъ страшно вырастаетъ, въ томъ, что хотя, можетъ быть, и увеличивается трудность его борьбы за существованіе, зато индивидуальныя силы его увеличиваются, насколько вырастаетъ въ немъ кровныхъ нитей, связующихъ его съ настоящей жизнью и дѣйствительностью.

— Не для всякаго одинаково,—сказалъ Крюковъ;—я, вѣроятно, хуже тебя, что ли, но мнѣ, напримѣръ, кажется совсѣмъ невозможнымъ жениться, если бы я даже и захотѣлъ этого. Развѣ это просто?

— Что? Боишься, ѣсть будетъ нечего?—спросилъ Комковъ,—придется бросить университетъ, дипломъ? Въ томъ-то, батюшка мой, и все дѣло. Прежде всего надо дойти до такой точки, до сознанія полной необходимости во что бы то ни стало жениться. Разъ ты убѣдился въ этомъ, остального не

существуетъ больше. Ну, что жъ? Выходи изъ университета, коли не можешь продолжать, записывайся въ писаря, въ желѣзнодорожники, въ конторщики, голодай, но не одинъ, а съ женой. Въ томъ и трудность, что тутъ надо имѣть смѣлость порвать со всѣми, со всѣмъ принятымъ и провести свою линію. Но въ этомъ зато одно спасеніе. Развѣ не лучше пожертвовать университетомъ и тѣмъ, что онъ дастъ тебѣ, зато сохранить свѣжесть и бодрость души? Развѣ лучше развратничать, всячески хандрить и дотягивать лямку до жалованья въ полторы тысячи и холода душевнаго?

— На это никто не пойдетъ,—сказалъ Крюковъ.—Кому же охота рисковать вѣрнымъ ради неизвѣстнаго и очутиться съ женой на улицѣ и безъ гроша въ карманѣ? Конечно, кабы быть увѣреннымъ въ помощи семьи хотя, домашнихъ.

— Ну, этого ты долго будешь дожидаться,—громко перебилъ его Комковъ.—Помощи, братъ, можно ждать только отъ самого себя. Гдѣ на себя положишься, тамъ и панъ. А въ дѣлѣ женитьбы ужъ особенно.

«Конечно, трудно идти одному противъ рожна, противъ общества, родителей, традицій, а какъ же иначе, когда намъ другого выхода не остается?

«Я пришелъ къ заключенію, что нѣтъ менѣе понимающихъ и сочувствующихъ намъ людей, какъ домашніе, нѣтъ большихъ эгоистовъ. Грустно это и неправильно, но это такъ. Всюду я наблюдаю то же самое въ нашемъ обществѣ. Тогда какъ они бы должны были заботиться о насъ, стараться вóвремя насъ устроить, женить въ извѣстномъ возрастѣ, какъ это дѣлается въ крестьянствѣ, разъ они произвели насъ на свѣтъ,—наши родители, видишь ли, предоставляютъ намъ полную свободу, а сами преспокойно играютъ въ винтъ, какъ, вотъ ты жалуешься всегда, дѣлаютъ у тебя. Такъ для нихъ удобнѣе, спокойнѣе. А между тѣмъ по-настоящему они бы обязаны были содержать насъ и нашихъ женъ до извѣстныхъ

лѣтъ, поддерживать насъ, пока мы не окрѣпли и сами не стали на ноги. Вотъ тогда бы и было легко жениться всякому во́-время. Знаешь ли, у меня мать предобрая старушка, и та вдругъ почему-то возстала, когда я объявилъ ей, что женюсь, и та стала отговаривать. Просто не поймешь ничего. Сначала ни за что не хотѣла,—рано, говоритъ, куда тебѣ,—потомъ ничего, смягчилась. Теперь вотъ и помогаетъ намъ, даетъ эту квартирку да двадцать пять рублевъ.

— Ага! Вотъ видишь, все-таки помогаютъ тебѣ,—сказалъ Крюковъ;—многимъ и того не будетъ.

— Помогутъ всякому. Всѣ люди—человѣки,—сказалъ Комковъ;—что ты думаешь, не смягчится у человѣка сердце, когда два молодыхъ существа, соединившихся другъ съ другомъ во имя святого дѣла—продленія и воспитанія рода человѣческаго, будутъ голодать и терпѣть лишенія? Бояться будущаго нельзя,—будетъ день, будетъ и пища; надо храбро разрѣшать, не разсуждая дальше, настоящіе, не терпящіе отлагательства вопросы.

VI.

— Чтобы жениться, нужно еще полюбить хорошую дѣвушку,—сказалъ Крюковъ;—ты, кажется, это совсѣмъ забываешь.

— Полюбить?—улыбнулся Комковъ, и онъ глубоко передохнулъ.—Ты все изрекаешь замѣчательныя вещи. А что такое значитъ «любить»? Ты можешь мнѣ объяснить это? Конечно, ты не полюбишь дѣвушку-урода или безъ носа, это всякому понятно. Конечно, лучше, если ты выберешь себѣ дѣвушку, подходящую тебѣ по возрасту, привычкамъ, воспитанію. Но и то Богъ знаетъ.

«Повторяю тебѣ, онѣ всѣ приблизительно на одно лицо снаружи и изнутри. Къ тому же въ этомъ никогда не бываетъ и не будетъ затрудненія. У каждаго и у каждой есть во

всякій день и часъ ихъ жизни та женщина или мужчина на примѣтѣ, съ которымъ или которой онъ или она желали бы сойтись. Это—взаимное влеченіе половъ, больше ничего. Но зачѣмъ же называть его словечками: любовь, влюбленіе и такъ далѣе? Право, давно пора все это бросить. Неужели ты думаешь, что это дѣйствительно существуетъ на свѣтѣ? Для простодушныхъ, можетъ быть, въ воображеніи, да.

— Нѣтъ, по-моему все же есть любовь,—скромно замѣтилъ Крюковъ.

— Есть?—спросилъ Комковъ.

И неожиданно онъ замолчалъ и задумался. Потомъ онъ продолжалъ вдумчиво и не торопясь, пристально глядя въ лицо Крюкову, который послѣ сказанныхъ словъ опять густо покраснѣлъ.

— Ну, что люди разумѣютъ обыкновенно подъ словомъ любовь? Что такое самая сильная, безумная, какъ говорится, любовь? Ты сдѣлался мужчиной, ты достигъ половой зрѣлости, тебѣ нужна женщина, которая бы пополнила твою личность и продлила бы твой родъ.

«Ты ищешь ее себѣ и сейчасъ же видишь ихъ кругомъ себя милліонъ. Но на свѣтѣ такъ скверно устроено людьми, что сойтись съ женщиной, которую ты себѣ намѣтилъ, тебѣ не легко по тысячѣ разныхъ причинъ. Первая причина хотя та, что женщина, которую ты выбралъ, одѣта.

«Ну, и вотъ ты влюбляешься въ эту, одѣтую въ платье, женщину, ты тоскуешь по ней, сколько твоей душѣ угодно, хоть до сумасшедшаго дома, мечтаешь о возможности сближенія съ ней,—однимъ словомъ, ты влюбленъ, степень зависитъ отъ тебя. Обыкновенно бываетъ, что чѣмъ больше препятствій представляется тебѣ сойтись съ женщиной, тѣмъ сильнѣе бываетъ твоя любовь. Устрани препятствіе—и любовь исчезла. На мѣсто ея сталъ бракъ, то-есть сожительство мужчины съ женщиной ради продленія рода и пополненія другъ друга.

«И разъ началось это сожительство, тогда только можетъ начаться настоящая любовь.

«Любовь къ женѣ, къ будущей матери твоихъ дѣтей, къ другу и спутнику твоей жизни,—любовь почти братская. Эту любовь я понимаю и она должна существовать и существуетъ. А любовь половая, влюбленіе это созданы только развратниками, полубольными и слабыми умомъ и тѣломъ людьми, которыхъ должно лѣчить, а не подражать имъ. Любви половой не должно быть, какъ не должно быть любви къ ѣдѣ, къ вину. И вотъ, когда ты сходишься съ дѣвушкой, которую ты себѣ выбралъ и которую, какъ я сказалъ, всегда намѣчаетъ тебѣ съ начала возмужалости сама судьба, ты говоришь себѣ, всему міру и той дѣвушкѣ: «я беру тебя себѣ въ жены и обѣщаю никогда ни съ одной женщиной, кромѣ тебя, не жить. Я обѣщаю тебѣ заботиться о тебѣ и твоихъ будущихъ дѣтяхъ и требую тѣхъ же обѣщаній отъ тебя по отношенію ко мнѣ». Вотъ религія брака. Просто и ясно. И мнѣ кажется, чѣмъ раньше человѣкъ пойметъ необходимость его, чтобы стать этимъ въ правильное отношеніе къ міру, тѣмъ онъ будетъ сильнѣе, здоровѣе и умнѣе. Чѣмъ чище сохранили мы себя до брака, тѣмъ счастливѣе будетъ наша жизнь».

Комковъ начиналъ горячиться, и строгіе большіе глаза его заблестѣли. Онъ продолжалъ говорить, чувствуя, что и Крюковъ, и жена его—оба слушали его теперь внимательно.

— Я не понимаю, какъ наши жены еще выходятъ за насъ замужъ, запачканныхъ, грязныхъ, испорченныхъ! Какъ онѣ не требуютъ отъ насъ чистоты, которую мы требуемъ отъ нихъ. Какъ онѣ, чистыя, свѣжія, рѣшаются дѣлаться женами тѣхъ, кто уже растратилъ позади половину силъ и здоровья. Мало кричатъ объ этомъ грубомъ и непонятномъ неравенствѣ! Мало онѣ сами, молодыя дѣвушки, наказываютъ насъ, требуютъ отъ насъ и кидаютъ намъ въ лицо бьерсоновскую перчатку!

— Да, я тоже часто думаю объ этомъ,—сказалъ Крюковъ.

— Ну, вотъ, вотъ,—продолжалъ Комковъ,—слава Богу, это входитъ помаленьку въ сознаніе, но далеко еще до практическаго осуществленія. А между тѣмъ я представляю себѣ иногда, что́ было бы, кабы мы всѣ, вся молодежь, были бы женаты! Если бы хоть вотъ наше московское студенчество все бы переженилось? Подумай, сколько бы въ немъ прибавилось разума, чистоты, энергіи. Я думаю, не только само студенчество бы оживилось и обновилось, но и все человѣчество бы посвѣжѣло отъ этого. Вѣдь надо представить себѣ, что всѣ мы, хотя 4,000 человѣкъ московскихъ студентовъ, здоровые, молодые, самые лучшіе люди нашего времени, какъ принято думать, живемъ всѣ, за рѣдкими исключеніями, не разрѣшивъ совсѣмъ полового вопроса или разрѣшая его самымъ отвратительнымъ образомъ. Мы посѣщаемъ дома терпимости, нервничаемъ, развратничаемъ, пьянствуемъ, хандримъ, играемъ въ карты, даже выдумываемъ машинки для сдачи картъ, наконецъ, стрѣляемся, болѣемъ всячески, мучаемся часто отъ одной только этой тоски и неудовлетворенности, которыхъ источникъ—половая сторона, которой мы пренебрегаемъ или ложно разрѣшаемъ. Мнѣ думается, что и всѣ эти студенческія исторіи, безпорядки, увлеченія разными идеями, которыя сейчасъ же разбиваются въ прахъ, какъ только касаются жизни,—все это исчезло бы, по крайней мѣрѣ, на половину, когда бы тѣ, кто производитъ ихъ теперь, были бы женаты, а потому трезвы и дѣятельны. Сколько сохраняется въ нашемъ народѣ силъ, свѣжести и нравственности только отъ того, что въ немъ женятъ людей молодыми. Я увѣренъ, что то же самое было бы съ нашимъ обществомъ, кабы оно сознало всю важность ранней женитьбы. Будущіе люди будутъ недоумѣвать, зачѣмъ мы мучились, зачѣмъ портили лучшіе годы нашей жизни, бездѣятельно тоскуя и терзаясь, когда есть отъ этого такое простое лѣкарство. Вѣдь чѣмъ объясняются всѣ эти

терзанія, вся эта тоска, неудовлетворенность, исканіе, и такъ далѣе, молодежи въ извѣстную пору жизни?— Самымъ простымъ матеріальнѣйшимъ изъ матеріальныхъ законовъ человѣческой природы. И этого не хотятъ понять ни за что на свѣтѣ. Выдумываютъ всякія словечки, романисты строятъ на этомъ самые сложные и идеальнѣйшіе романы, которыми морочатъ глупое человѣчество, когда бы слѣдовало просто-напросто слѣдовать указаніямъ матушки-природы, или матушки-физіологіи, какъ дѣлается это въ животномъ мірѣ и мірѣ народномъ, который все же ближе, чѣмъ мы, стоитъ къ правдѣ, менѣе запутавъ и затемнивъ ее.

Комковъ теперь всталъ и заходилъ взадъ и впередъ по единственному свободному клочку комнатки въ два аршина. Онъ совсѣмъ разгорячился и сталъ нервнымъ движеніемъ встряхивать головой и откидывать назадъ волосы, падавшіе на его высокій лобъ.

— Кабы люди поменьше фантазировали,—продолжалъ онъ съ болѣзненной, наболѣвшей ноткой,—кабы люди больше дѣлали, работали, изучали; кабы они проще и, главное, честнѣе, честнѣе подходили къ вопросамъ жизни и разрѣшали ихъ, а не отдалялись бы отъ нея въ невѣдомыя глубины и высоты, гдѣ и жизнь-то прекращается,—насколько бы человѣчество тогда стало счастливѣе, насколько бы оно поумнѣло и двинулось впередъ.

VII.

— Есть люди,—продолжалъ Комковъ, волнуясь все больше и больше и теперь безпрестанно откидывая назадъ, падавшіе ему на глаза, волосы,—есть люди сильные, большіе, которые хотятъ увѣрить насъ, что бракъ—это мерзость, что идеаломъ нашимъ должно быть безбрачіе!

Голосъ Комкова вдругъ упалъ, точно онъ не находилъ въ себѣ больше силъ говорить.

— Идеаломъ и цѣлью жизни должна быть смерть,—насилу выговорилъ онъ, какъ-то подавившись отъ охватившаго его волненія.

— Знаете, я просто не понимаю этого, въ моей бѣдной головѣ не умѣщается такая премудрость!—вдругъ вскрикнулъ онъ, такъ что Крюковъ и молодая Комкова—оба вздрогнули и на лицахъ ихъ выразилось удивленіе.

Онъ замолчалъ на минуту, остановился на мѣстѣ, потомъ опять торопливо началъ ходить взадъ и впередъ по свободному клочку комнаты.

— Идеаломъ нашимъ должно быть уничтоженіе,—продолжалъ онъ глухо и гнѣвно,—прекращеніе рода человѣческаго, потому что такъ-де думали всегда всѣ умные люди—Будды, Шопенгауэры, Гартманы, мы! Что жъ такое, что родъ человѣческій прекратится; туда ему и дорога. Все на свѣтѣ прекращается, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія и ничего новаго. Намъ-то зачѣмъ безпокоиться объ этомъ? Недобросовѣстно бояться, что родъ человѣческій прекратится, когда дѣло идетъ не о нашемъ удовольствіи, а о нашей чистотѣ.

«Цѣль нашей жизни должно быть стремленіе къ идеалу чистоты. Когда люди достигнутъ его, они раскуютъ мечи на серпы, полягутъ, обнимутся, какъ братья, и помрутъ. Тогда настанетъ царство Божіе на землѣ.

«Для кого же, позвольте спросить, оно тогда настанетъ, это царство Божіе? И потомъ, что такое, наконецъ, это царство Божіе?—спросилъ Комковъ, злобно усмѣхнувшись.—Къ чему же намъ стараться-то, мучиться и достигать этой идеальной чистоты, когда въ вознагражденіе за нее посылается смерть? Кто же пойдетъ на такое удовольствіе? Кто же, какой разумно мыслящій человѣкъ попадется на такую философію, которая совѣтуетъ стремиться къ погибели?

«Впрочемъ, попадаются, многіе даже попадаются,—съ грустью сказалъ онъ, мѣняя тонъ на болѣе мягкій и серьез-

ный;—къ несчастію, люди не могутъ самобытно и здраво мыслить и дѣйствовать, а въ большинствѣ случаевъ ищутъ чужой помощи и совѣта; къ несчастію, правда, что на свѣтѣ никого нѣтъ, кромѣ тряпокъ и глупцовъ. И вотъ гибнутъ, гибнутъ эти слабые, простодушные люди, увлекаясь высокими ученіями!

— Почему же гибнутъ? — спросилъ Крюковъ;—я думаю, напротивъ, повѣсть, о которой ты говоришь, принесла много пользы людямъ.

— Можетъ быть, но она принесла еще больше вреда, страданій и зла,—опять почти вскрикнулъ Комковъ;—я знаю это по многимъ примѣрамъ.

— Да чѣмъ же?—удивился Крюковъ.

— Тѣмъ, что люди не женились и не женятся во́-время, прочтя эту повѣсть, а хотятъ быть чистыми, совершенными,—съ ироніей отвѣтилъ Комковъ;—тѣмъ, что они хотятъ быть цѣломудренными, проповѣдуютъ безбрачіе, а сами, сплошь да рядомъ, въ то же время втихомолку развратничаютъ и разжигаются мысленно, въ сто разъ хуже самыхъ откровенныхъ развратниковъ, тѣмъ, что они доводятъ себя до болѣзней, до сумасшедшаго дома, до кладбища, если на самомъ дѣлѣ хотятъ побѣдить въ себѣ плотскую жизнь и ея потребности; тѣмъ, что они безплодно убиваютъ въ себѣ силы, молодость, жизнь, все лучшее, что послано имъ отъ Бога, ради нелѣпой идеи!

«Что же другое можетъ выйти изъ этой проповѣди? Какъ иначе отнестись къ ней? Если слѣдовать ей, повѣрить ей, надо погибнуть; если понять ея сущность и сразу увидать ея послѣдствія, то нельзя не отвернуться отъ нея, какъ отъ чего-то непонятнаго, къ жизни не относящагося и потому ненужнаго намъ.

«Нельзя же слѣдовать явной неправдѣ. Нельзя юношѣ, сжигаемому жаждой жить, страстями и желаніями, говорить, что

всѣ эти страсти незаконны въ немъ и что ихъ надо стараться въ себѣ искоренить. Недобросовѣстно и не добро дѣлать это. Развѣ можно совѣтовать голодному или мучимому жаждой человѣку ждать, чтобы эти голодъ и жажда его прошли сами собой, или совѣтовать бороться съ ними, не удовлетворяя ихъ?

«Это грѣхъ, потому что это тоже убійство! Конечно, и голодъ, и жажда пройдутъ, если замуравить себя живьемъ въ землю, какъ въ Термовскихъ хуторахъ. Тогда ужъ лучше поступать по-ихнему,—это гораздо понятнѣе. Тогда секта скопцовъ разрѣшила вопросъ еще проще и вѣрнѣе, выдумавъ средство для борьбы съ соблазномъ плоти.

— Но на то мы культурные люди,—убѣжденно продолжалъ Комковъ, — чтобы разумно и трезво мыслить, а не быть безумными фанатиками. На то мы изучаемъ законы природы, чтобы знать, что не прекращается жизнь, какъ проповѣдуютъ Будды, Шопенгауэры, Гартманы, а, напротивъ, вѣчно существуетъ, какъ вѣчная матерія, какъ безконечно вѣченъ въ прошедшемъ и будущемъ свѣтъ солнца и весь міръ!

«Мы—живые люди и потому будемъ поклоняться не смерти, а рожденію; не холодному, мертвящему безбрачію, а браку, чистому, честному браку.

«Говорятъ: «да нѣтъ, смерти не будетъ, всегда найдутся люди, которые какъ-то нечаянно будутъ за насъ продолжать родъ человѣческій, но кто можетъ вмѣстить, да вмѣститъ! Надо только стремиться къ христіанскому идеалу, къ идеалу Христа вообще и къ идеалу цѣломудрія въ частности, руководствоваться имъ, какъ компасомъ, чтобы знать направленіе, по которому идти, какъ это бываетъ на кораблѣ въ морѣ,— и тогда все и всѣмъ будетъ отлично. Идеалъ—это не предписаніе, не правило, а идеалъ только тогда идеалъ, когда онъ безконечно недостижимъ, и потому бояться того, что мы его достигнемъ, нечего. Надо только знать направленіе». Можетъ

быть, въ этихъ словахъ есть красота; можетъ быть, въ нихъ можно слѣпо вѣрить и находиться подъ ихъ гипнозомъ, но вникните только съ ясной головой въ ихъ смыслъ, и вы увидите, какое противорѣчіе кроется въ нихъ.

«Стремитесь къ идеалу. Онъ недостижимъ. Идеалъ этотъ— цѣломудріе. Значитъ, стремитесь къ недостижимому цѣломудрію, въ то время какъ какіе-то другіе люди за васъ будутъ безконечно продолжать родъ человѣческій.

«Спрашивается, кто же эти люди, которые будутъ за насъ безконечно продолжать родъ людской?

«Оказывается, всѣ обыкновенные, смертные люди, все человѣчество. Но почему же тогда они, эти люди, не могутъ достигнуть цѣломудрія?

«Потому, что оно недостижимо. Для кого же и для чего такъ настойчиво проповѣдывался идеалъ полнаго цѣломудрія? Не для чего и не для кого.

«Удивительное дѣло, — сказалъ Комковъ, вздохнувъ такъ глубоко, что цѣлую минуту онъ выдыхалъ назадъ воздухъ изъ своей широкой груди,—удивительно, какъ это только можно увлекаться до такой степени голой идеей, забывая ради нея все остальное, жертвуя ради нея очевидностью, логикой, правдой!

«Нашему поколѣнію прямо непонятенъ такой способъ мышленія. Прекрасно говорить, что идеаломъ нашимъ должно быть ученіе Христа,—кто же съ этимъ станетъ спорить? Что жизнь наша должна быть работой для установленія братства, равенства, счастія на землѣ. Но зачѣмъ же прилагать идеалъ аскетизма къ жизни, къ половому вопросу, гдѣ онъ приводитъ къ абсурду?!

«Могутъ существовать понятія идеальнаго брака, идеальнаго разрѣшенія полового вопроса, понятіе цѣломудреннаго брака,— эти понятія ясно могутъ быть опредѣлены и выражены, не противорѣча ни логикѣ, ни правдѣ, а понятіе идеальной смерти

или уничтоженія, идеальнаго несуществованія жизни и міра никому не понятно.

«Да, да, это главная ошибка «Крейцеровой Сонаты» и ея «Послѣсловія», разъ уже ясно, что дѣло идетъ о нихъ,—ошибка въ ихъ выводѣ, въ томъ, что идеаломъ поставлено то, что не можетъ имъ быть. Идеалъ Христа понятенъ, онъ самъ собой и онъ вовсе не противорѣчитъ браку; идеалъ брака самъ собой и тоже очень ясенъ и понятенъ всякому и не противорѣчитъ Христу. Идеалъ Христа—смиреніе, всепрощеніе, любовь; идеалъ брака—чистота, вѣрность. Изъ требованій идеальнаго цѣломудреннаго брака вытекаетъ, что надо жениться и выходить замужъ молодымъ; надо дѣлать это не для разврата, а для рожденія дѣтей. Отсюда слѣдуетъ, что не надо жить съ беременной женой, не надо жить съ кормящей. Это все понятно. Почему нельзя совмѣстить этихъ двухъ идеаловъ,—идеала брака и идеала любовной жизни людей на землѣ? Неужели одно исключаетъ другое? Тогда тутъ что-нибудь да не такъ.

«Неужели жизнь возможна только тамъ, гдѣ невозможна христіанская любовь? Или обратно: христіанская любовь возможна только тамъ, гдѣ невозможна жизнь и гдѣ она прекращается?

«Идеалъ брака, т.-е. цѣломудренный бракъ, вотъ что надо ставить передъ собой въ вопросѣ половыхъ отношеній, и идеалъ этотъ не недостижимъ, а достижимъ, хотя, можетъ быть, еще столѣтія и цѣлыя тысячелѣтія пройдутъ, пока человѣчество его достигнетъ.

«Я намедни встрѣтился съ однимъ толстовцемъ, — снисходительно улыбаясь, сказалъ Комковъ, — и Боже мой, какъ онъ раскипятился, когда я сталъ говорить ему то, что говорю вамъ теперь. Они, бѣдные, такъ вѣрятъ въ свои кумиры, что просто жаль опрокидывать ихъ. Сейчасъ же началъ мнѣ проповѣдывать, конечно, о кораблѣ и компасѣ. Тогда я спрашиваю его: что же это такое вашъ корабль, на которомъ вы плывете въ морѣ? Не онъ ли какъ разъ тотъ самый бракъ, который вы

хотите потопить, забывая, что вы на немъ ѣдете? Къ чему же тогда и вашъ компасъ и направленіе, когда все это пойдетъ вмѣстѣ съ вами ко дну?

«Можно говорить, что мы не чисты, что мы не вѣрно смотримъ на половые вопросы, что мы всячески развращены, можно и должно говорить обо всемъ этомъ, но что бракъ— это мерзость, что этотъ высшій божественный законъ есть мерзость, которую надо отмѣнить, чтобы отмѣнить имъ кстати и все человѣчество,—этого говорить нельзя и не должно. Нельзя этого, потому что, повторяю вамъ, только бракомъ, и только имъ однимъ, можно правильно разрѣшать половой вопросъ. И не бракомъ многоженствомъ или многомужествомъ, и не свободною любовью,—это разумѣется само собой,—а строгимъ и сознательнымъ единобрачіемъ.

«Я долго не понималъ этого и тоже разсуждалъ всячески, по нашей русской слабости къ разсужденіямъ, но, слава Богу, судьбѣ угодно было просвѣтить меня и научить.

«Какъ вы знаете, я въ прошломъ году попалъ-таки за границу.

Комковъ еще разъ замолчалъ и, закуривъ папироску, сѣлъ на свое старое мѣсто на диванѣ. Казалось, онъ уже высказалъ теперь все, особенно сильно волновавшее его, и выраженіе его глазъ и лица стало спокойнѣе.

— И вотъ западъ, гнилой западъ,—продолжалъ онъ, опрокинувъ голову назадъ и вытянувъ впередъ свои длинныя ноги,— спасъ меня отъ моего русскаго тумана въ головѣ и научилъ меня настоящему уму-разуму. Сто лѣтъ проживъ въ Россіи, я не узналъ бы того, что узналъ за границей въ одинъ мѣсяцъ. Первое, чему я научился тамъ, это—что надо не разсуждать, а дѣлать. Кажется, простая истина, а у насъ до сихъ поръ ея не понимаютъ.

«Я увидалъ, что не голыми наивными разсужденіями, которыя давно извѣстны всѣмъ и всѣмъ надоѣли, отъ кото-

рыхъ только дѣлается скучно и еще труднѣе жить, можно двигаться впередъ и содѣйствовать движенію другихъ, а только дѣломъ—постояннымъ, настойчивымъ и разумнымъ. Это одно только и плодотворно. Я увидалъ, что на западѣ эта истина давно уже всосалась въ плоть и кровь людей, сдѣлалась религіей каждаго и люди ею живутъ и удовлетворяются. Ни одно ученіе, никакая проповѣдь меня бы не научила большему того, что я увидалъ на живомъ примѣрѣ запада. Онъ отрезвилъ меня. Чтобы еще больше отрезвиться, чтобы еще ближе подойти къ жизни и понять ее, чтобы пополнить себя, чтобы сдѣлаться настоящимъ человѣкомъ, вернувшись въ Россію, я вотъ женился.

— Вижу,—улыбнулся Крюковъ.

— Да, но ты бы не видалъ этого, кабы я не пожилъ за границей. Богъ знаетъ тогда, въ какія невѣдомыя высоты я бы еще залетѣлъ! У насъ вѣдь всякій норовитъ додуматься и докопаться до такого предмета, какой еще никто никогда не выдумывалъ. На нашемъ просторѣ еще много воли мистицизму, въ какой угодно формѣ и проявленіи. Не даромъ насъ считаютъ дѣтьми, которыя по-дѣтски и мыслятъ, по-дѣтски живутъ.

«Мы хотимъ достигнуть равенства и братства на землѣ и для этого выдумываемъ такое средство, отъ котораго надо погибнуть.

«Мы хотимъ сдѣлаться совершенными — это чудесно, но зачѣмъ же для этого нужно прекращеніе жизни?

Комковъ опять всталъ на ноги и теперь медленнѣе прошелся по комнатѣ. Онъ подошелъ сзади къ стулу, на которомъ сидѣла его жена, и, взявшись за его спинку, остановился.

— Я думаю,—сказалъ онъ вдумчиво,—я думаю такъ: цѣль нашей жизни—это разумное служеніе не смерти, а жизни. Служеніе безконечному совершенствованію жизни и счастія людей на землѣ. Совершенствоваться можно только двигаясь,

а двигаться—только слѣдуя неизмѣннымъ законамъ этого движенія, даннымъ намъ природой. Мы достигнемъ и братства, и равенства людей на землѣ, можетъ, еще гораздо высшихъ ступеней человѣческаго соціальнаго совершенствованія, а законы природы будутъ неизмѣнно оставаться все тѣми же. Вопросъ только въ томъ, чтобы не извращать ихъ, въ томъ, чтобы правильно ихъ понимать и освящать ихъ вселеннымъ въ насъ божественнымъ разумомъ.

Просидѣвъ у Комкова до глубокой ночи, Крюковъ, наконецъ, всталъ и началъ прощаться съ хозяевами.

— Такъ вотъ-съ,—сказалъ Комковъ, провожая товарища до наружной двери, чтобы запереть ее за нимъ,—вотъ тебѣ какую проповѣдь пропѣлъ. Теперь у меня для всѣхъ совѣтъ одинъ.

— Ты очень счастливъ поэтому,—сказалъ Крюковъ, выходя на крылечко флигелька.

— Не больше, а, можетъ быть, и меньше другихъ,—сказалъ Комковъ,—но я сознательно чувствую себя счастливымъ тѣмъ, что совѣсть моя спокойна теперь, а это врядъ ли всѣ чувствуютъ. Я счастливъ тѣмъ, видишь, что разрѣшилъ то, что мучило меня, а тамъ будетъ и горе, и несчастіе, все равно, это дѣло судьбы,—зато я все перенесу теперь и буду жить во всю, а не существовать наполовину.

VIII.

Крюковъ шелъ домой, медленно перебирая въ головѣ все, что слышалъ за этотъ вечеръ, такъ неожиданно имъ проведенный. Но, странное дѣло, хотя Комковъ такъ горячо совѣтовалъ жениться, хотя самъ, какъ будто, представлялъ изъ себя примѣръ того молодого женатаго счастливца и полнаго, дѣятельнаго человѣка, о которомъ онъ проповѣдывалъ,—его слишкомъ рѣзкія рѣчи мало помогли Крюкову разобраться въ

его собственномъ положеніи, а только какъ будто еще больше разстроили его теперь. Крюковъ не могъ согласиться съ товарищемъ.

Все это было прекрасно на словахъ, но такъ далеко отъ дѣйствительности и практическаго осуществленія, для него по крайней мѣрѣ, что лучше было совсѣмъ не думать о невозможномъ.

«Хорошо Комкову говорить, когда онъ уже женатъ, когда у него и квартирка даровая, и мать помогаетъ, можетъ быть, помогаютъ и ея родители. Хорошо ему, когда его жена, вѣроятно, и не привыкла къ роскоши и удовольствуется тѣмъ, что есть. Развѣ бы онъ могъ посадить Сонечку въ такую конуру? Да и такой даже у него не было бы».

«И потомъ просто, ну, какъ ему, Ванѣ Крюкову, жениться теперь на княжнѣ Барецкой?»

И эта послѣдняя фраза стала почему-то особенно часто приходить ему въ голову.

«Ему, Ванѣ Крюкову!!

«Что же, ждать ее пять, десять лѣтъ? Развѣ можно сохранить себя и свое чувство невредимыми столько времени? Развѣ можно поручиться за себя и устоять противъ соблазновъ, которые окружаютъ тебя, и все это время тушить огонь, который постоянно горитъ въ тебѣ?

«Нѣтъ, нѣтъ,—еще и еще говорилъ себѣ Крюковъ,—нельзя ему думать о Сонечкѣ, а надо скорѣй, скорѣй забыть ее; ему только это и остается. И зачѣмъ онъ допустилъ себя до такого увлеченія ею, зачѣмъ столько думалъ и мечталъ о ней, чтобы только остаться осмѣяннымъ въ своихъ и чужихъ глазахъ?»

И вдругъ онъ вспомнилъ слова Комкова о любви:

«Любви никакой нѣтъ, а есть половая потребность въ пору зрѣлости». Неужели это такъ просто? Неужели и его чувство къ Сонечкѣ, его тоска—не что иное, какъ потребность

разрѣшенія и удовлетворенія половой стороны его существа? Неужели всѣ эти поэтическія мечты его объясняются такъ грубо матеріально?

«Не можетъ быть, не можетъ быть»,—говорилъ себѣ Крюковъ.

«Какъ! и то, что онъ испытывалъ къ ней вчера, когда танцовалъ съ ней, и то, что испытывалъ сегодня, провожая ее на вокзалъ, не была любовь самая настоящая, горячая и искренняя? Конечно, это любовь! А теперь? Теперь она уѣхала, и хотя онъ все-таки думаетъ о ней, вспоминаетъ ее, онъ не можетъ уже такъ страстно любить ее. Зачѣмъ же ему думать о ней, когда это ни къ чему не приведетъ, кромѣ мученія? Надо скорѣй совсѣмъ, совсѣмъ изгнать ее изъ памяти!»

И чѣмъ ближе Крюковъ подходилъ къ дому, тѣмъ грустнѣе, запутаннѣе и безвыходнѣе казалось ему его положеніе. Онъ сознавалъ только одно несомнѣнно и съ какой-то тупой, неотступавшей отъ сердца болью, что ему нехорошо и одиноко, невыразимо одиноко на свѣтѣ, и что Сонечку, любилъ ли онъ ее или нѣтъ, ему надо забыть.

Придя домой, онъ остановился на крыльцѣ ихъ квартиры и, нажавъ электрическую пуговку звонка, позвонилъ.

«Завтра надо прочесть еще десять листовъ языковѣдѣнія и пройти половину исторіи Рима», подумалъ онъ заботливо.

Дѣвушка Матрена зашлепала внизъ по каменнымъ ступенькамъ лѣстницы. Она была въ своихъ мягкихъ туфляхъ, что доказывало, что гости разъѣхались и всѣ уже разошлись спать.

Загремѣлъ желѣзный длинный крюкъ, и Матрена, посторонившись, впустила Крюкова въ нижнія холодныя сѣни. Она была теперь въ какой-то бѣленькой короткой и разстегнутой кофточкѣ, которая не сходилась на ея полной груди. Глянцевитое лицо ея, какъ всегда, блестѣло, и румяныя губы улыбались. Очевидно было по ея одеждѣ, что она тоже только-что разбиралась на ночь.

— Ужъ легли? Какъ рано!—сказалъ Крюковъ.

— Да-съ, первый часъ.

Крюковъ вбѣжалъ наверхъ, въ тѣсную переднюю, бросилъ шинель на стулъ и живо прошелъ къ себѣ черезъ темный коридоръ. Онъ сѣлъ къ своему столу и открылъ первый попавшійся ему въ руки учебникъ. Это былъ Тацитъ. Изъ него тоже надо было приготовить къ экзамену цѣлую пропасть главъ. Зачѣмъ это ему? Къ чему?

Тацитъ мучилъ и сердилъ Крюкова послѣднее время.

Оказалось, что и въ университетѣ, хотя онъ и выбралъ словесное, а не классическое отдѣленіе филологическаго факультета, пришлось вернуться къ проклятой латыни. И не только пришлось читать римскихъ авторовъ, но еще писать письменныя упражненія, тѣ же extemporalia, отъ которыхъ Крюковъ надѣялся, что избавился на всю жизнь послѣ экзамена зрѣлости.

Спать ему теперь совсѣмъ не хотѣлось. Пройдясь по воздуху и надышавшись имъ, онъ почувствовалъ, что у него въ комнаткѣ было очень душно. Онъ всталъ и отворилъ форточку. Свѣжій ночной воздухъ, пахнувшій весной и масляной краской, хлынулъ на него. Онъ вздохнулъ полною грудью и опять сѣлъ къ своему столику, отбросивъ книгу далеко на подоконникъ.

IX.

Въ квартирѣ стояла ненарушимая тишина, и только слышны были часы, громко тикавшіе въ коридорѣ.

По переулку загремѣлъ по мостовой ночной извозчикъ, приближавшійся, очевидно, шагомъ. Гдѣ-то далеко загудѣлъ поѣздъ и тоскливое одинокое и горькое чувство еще сильнѣе повернулось въ эту минуту въ душѣ Крюкова. Этотъ приближавшійся къ нему, все ближе и ближе, стукъ колесъ по мосто-

вой, этотъ воздухъ, этотъ свистъ поѣзда вдали и тишина кругомъ—все это непонятно взволновало его.

Что такое дѣлалось съ нимъ?

Отчего ему было такъ скучно, такъ нехорошо?

Вдругъ, тѣ же мягкіе, шлепавшіе въ туфляхъ, шаги Матреши раздались за дверью въ коридорѣ и въ ту же минуту она безъ стѣсненія вошла въ комнату, затворивъ за собой дверь.

— Я забыла вамъ водицы принесть,—сказала она самымъ простымъ голосомъ. Пройдя совсѣмъ близко подлѣ стула Крюкова, такъ что кофточка ея скользнула по его плечу и онъ почувствовалъ на секунду запахъ ея теплаго тѣла, она подошла къ его кровати и поставила графинъ воды на ночной столикъ.

— Вамъ холодно будетъ. Форточку-то отворили.

— Нѣтъ, тутъ что-то душно.

Матреша стала поправлять постель и подтыкать одѣяло, хотя въ этомъ не было никакой надобности.

Потомъ она стала мять и взбивать подушку.

— Я вамъ нынче все чистенькое постелила.

— Хорошо, спасибо, иди.

Крюковъ сидѣлъ, не шевелясь и глядя въ темное стекло окна, въ которомъ отражалась горѣвшая на столѣ лампа.

И вдругъ онъ почувствовалъ, что съ той минуты, какъ вошла Матреша и закрыла за собой дверь, съ той секунды, какъ онъ нечаянно взглянулъ ей въ глаза и понялъ по нимъ то, чего она отъ него, очевидно, страстно желала всѣмъ своимъ существомъ,—въ немъ зашевелилась какая-то непонятная внутренняя тревога, перевертывавшая собой вверхъ дномъ всѣ наполнявшія его до этого желанія, мысли, мечты.

Откуда она явилась въ немъ? Какъ могъ онъ допустить, чтобы это ужасное, запрещенное чувство вдругъ поднялось въ немъ? Что съ нимъ дѣлалось? Боже, неужели онъ такъ низко палъ, неужели и онъ дошелъ до того времени, до той

точки, о которой говорилъ Комковъ, когда онъ больше не можетъ бороть въ себѣ этихъ животныхъ инстинктовъ, тушить въ себѣ половой потребности?

А Сонечка? А его любовь къ ней?

И послѣ этихъ, мысленно сказанныхъ, словъ внутренній ужасъ охватилъ душу Крюкова. Ладони его рукъ покрылись холоднымъ пóтомъ и колѣни его задрожали, точно кто ударилъ по нимъ. Онъ не на шутку испугался.

Какъ могъ онъ, гадкій, подлый, позволить хоть слабой тѣни этого преступнаго желанія подняться въ немъ? Какъ, откуда только смѣетъ тревожить его это дьявольское искушеніе?!

Изъ форточки продолжалъ идти сильный весенній воздухъ, пахнувшій масляной краской, которая особенно раздражала Крюкова.

Матреша все еще не разгибала спины и трепала подушку, поворачиваясь изъ стороны въ сторону.

Матреша была замужемъ. Но мужъ ея, пьяница и грубіянъ, бросилъ ее года три назадъ и пропалъ куда-то безъ вѣсти, оставивъ на ея рукахъ маленькую годовалую дѣвочку. Крюковы, живя прошлою осенью на дачѣ, подъ Москвой, взяли къ себѣ Матрешу и приласкали ее. Она замѣтно у нихъ поправилась и похорошѣла. Давно уже, съ первыхъ дней своего поступленія къ нимъ въ домъ, Крюковъ замѣтилъ, что у Матреши были розовыя, необыкновенно стройныя ноги, когда она босая мыла полы. Но онъ не позволялъ себѣ замѣчать этого.

— Все чистенькое вамъ постелила,—повторила она теперь какимъ-то страннымъ, прерывающимся голосомъ,—а то не было къ празднику-то.

Крюковъ оглянулся на нее и еще разъ встрѣтился глазами съ ея влажнымъ, нечистымъ, полнымъ наглаго вызова взглядомъ.

И въ ту же секунду что-то ударило его неудержимой волной по сердцу. Все заклокотало въ немъ и взбаламутилось, и онъ потерялъ спокойствіе и самообладаніе.

Онъ вскочилъ на ноги и, не отдавая себѣ хорошенько отчета въ томъ, что дѣлаетъ, стремглавъ и безъ оглядки выскочилъ изъ своей комнатки.

Душа его ныла и обливалась кровью. Онъ пробѣжалъ весь коридоръ, живо повернулъ въ концѣ его направо въ столовую и плотно закрылъ за собой обѣ половинки двери.

Въ столовой было почти темно и только слабый свѣтъ отъ уличнаго фонаря колебался и дрожалъ на стѣнѣ подлѣ окна и на черномъ фортепіано.

Крюковъ подскочилъ къ нему и сѣлъ передъ нимъ на табуретъ. Онъ тяжело дышалъ и глаза его лихорадочно блестѣли.

«Какая гадость, какой ужасъ, ужасъ все это, — повторялъ онъ въ отчаяніи. — Какъ же, какъ же поступить? Вѣдь вотъ немного нужно слабости, и кончено, все будетъ кончено, и сдѣлаешься какъ Бухановъ! Развѣ я звалъ ее? Развѣ я сдѣлалъ хоть шагъ для сближенія съ ней? Развѣ я хоть разъ взглянулъ на нее нечистыми глазами? А она сама приходитъ и чуть не предлагаетъ себя. Боже мой, кабы знала все это Сонечка? Чистая, прелестная Сонечка. Но я непремѣнно разскажу ей это, пусть, пусть она знаетъ, какимъ опасностямъ и соблазнамъ мы постоянно подвержены».

Рой чувствъ и мыслей, сдѣлавшихся вдругъ необыкновенно важными и сильными, закипѣлъ теперь, въ душѣ Крюкова. Никогда въ жизни онъ не думалъ и не чувствовалъ такъ рѣшительно и ясно.

Весь разговоръ съ Комковымъ припомнился ему въ мельчайшихъ подробностяхъ. И только теперь какъ будто, онъ понялъ настоящій смыслъ того, что говорилъ ему товарищъ.

«Да, да, — твердилъ себѣ Крюковъ, сидя не шевелясь на табуреткѣ и глядя широко открытыми глазами въ окно, откуда проникалъ свѣтъ съ улицы,—когда наступаетъ время половой зрѣлости, надо разрѣшать половой вопросъ такъ или ина-

че. Не хочу я мучиться, тосковать, не хочу развратничать или разжигаться мысленно, не хочу хандрить и болѣть, поэтому я долженъ жениться. Это единственное разумное разрѣшеніе полового вопроса. «Строгое, сознательное единобрачіе»,—повторялъ онъ слова Комкова.

«Лучше бросить университетъ, записаться въ писаря, въ конторщики, лучше голодать,—продолжалъ онъ повторять горячо и рѣшительно,—лучше быть выгнаннымъ изъ дому, остаться на улицѣ нищимъ, чѣмъ жить въ такой мучительной неопредѣленности, въ постоянномъ одиночествѣ, тревогѣ и тоскѣ и, наконецъ, неизбѣжно пасть!

«Что жъ такое, что они будутъ бѣдны? — говорилъ себѣ Крюковъ, все сильнѣе увлекаясь новымъ теченіемъ своихъ мыслей,—что жъ такое, что онъ броситъ скучный университетъ, проклятаго Тацита, языковѣдѣніе и всю эту ненужную ему науку? Отъ этого ему только станетъ свободнѣе, только легче на душѣ. Къ чему ему дипломъ, когда онъ получитъ высшее счастіе, высшій дипломъ, о которомъ онъ только смѣетъ мечтать,—онъ получитъ Сонечку?

«Да, одно остается ему: это, какъ Комковъ говорилъ, порвать со всѣми и всѣмъ, идти противъ принятаго и достигать этой первой, важнѣйшей для него цѣли—женитьбы. Ради нея надо жертвовать всѣмъ остальнымъ. Но пойдетъ ли за него Сонечка? Какъ уговорить ея мать, ея родню, какъ справиться со всѣми этими препятствіями?»

Но Крюковъ чувствовалъ въ себѣ столько силъ теперь и энергіи, что ничего не казалось ему страшнымъ или невозможнымъ въ эту минуту.

Онъ сознавалъ, что долженъ во что бы то ни стало осуществить свое намѣреніе, и въ немъ не оставалось мѣста сомнѣнію и малодушію. Онъ былъ увѣренъ почему-то въ успѣхѣ.

«Сонечка любитъ его, онъ знаетъ это, и она сдѣлаетъ все, что онъ захочетъ. Дѣло зависитъ, значитъ, только отъ него.

Можно будетъ и подождать потомъ годъ и два и больше, если только все будетъ выяснено и рѣшено. Тогда ничего не покажется страшнымъ.»

И эти послѣднія мысли вызвали неожиданно дикую, необузданную радость въ душѣ Крюкова.

«Именно такъ, именно такъ ему слѣдовало поступить и рѣшить. И какъ это раньше онъ не понималъ этого? Чего онъ боялся? Чего хотѣлъ онъ ждать? Не даромъ Комковъ такъ волновался, говоря объ этомъ вопросѣ. И дѣйствительно, какъ же не волноваться, когда это вопросъ, отъ котораго зависитъ вся жизнь? Но теперь и онъ, и онъ будетъ спокоенъ, разъ рѣшитъ, что надо дѣлать.

«И какъ они заживутъ съ Сонечкой! Какъ будутъ трудиться, работать, любить другъ друга. Какъ они будутъ счастливы!»

Крюковъ взглянулъ на открытую и не убранную съ тѣхъ поръ, какъ онъ игралъ, тетрадку Шопена, лежавшую передъ нимъ на пюпитрѣ фортепіано, и ему вдругъ страстно захотѣлось сыграть еще разъ теперь ту бурную и страстную прелюдію presto con fuoco, которую онъ игралъ вечеромъ послѣ короткаго разговора съ отцомъ.

Сильные, нервные и энергичные первые аккорды ея уже прозвучали въ его ушахъ рѣшительно и властно.

«А если въ спальнѣ родителей будетъ слышно? Если я разбужу ихъ?»—подумалъ Крюковъ.

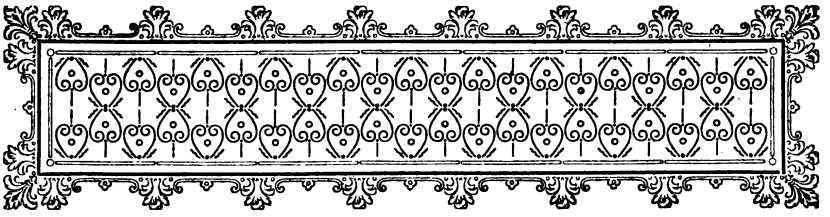
«Что жъ такое, — отвѣтилъ ему какой-то сердитый, раздраженный голосъ, нескромный и мало знакомый ему,—что жъ такое, что ты разбудишь этихъ эгоистовъ! Мало ли они мучили тебя, мѣшали тебѣ спать, заниматься, готовиться къ экзаменамъ, когда у нихъ пѣла пѣвица Крементова или пилилъ до трехъ часовъ ночи скрипачъ Бауэръ? Развѣ они хоть разъ подумали о тебѣ, что ты учишься, что ты усталъ, что тебѣ, можетъ быть, непріятно то, что они дѣлали? Играй прелюдію, не бойся, ты имѣешь на то право!»

И Крюковъ, раскрывъ крышку рояля, ударилъ изо всѣхъ силъ по клавишамъ.

Страстные, сильные звуки шопеновской прелюдіи раздались въ столовой, взбудораживъ ночную тишину, и наполнили собой все кругомъ.

«Завтра же я напишу ей, — повторялъ за прелюдіей Крюковъ,—завтра же я все ей разскажу и будетъ конецъ томленію; и я поѣду къ нимъ лѣтомъ, хотя старая княгиня и не звала меня отдѣльно; и я брошу университетъ, оставлю родителей, отца, мать, домъ, но я женюсь, женюсь на Сонечкѣ, во что бы мнѣ это ни стало, и пусть весь міръ узнаетъ о моемъ рѣшеніи!

И онъ игралъ прелюдію, какъ никогда въ жизни еще ея не игралъ, и мурашки пробѣгали у него отъ висковъ черезъ всю голову и вдоль спины.



Первый ребенокъ.

(Разсказъ).

I.

Напряженное состояніе духа съ каждымъ днемъ все росло въ домѣ молодыхъ Панютиныхъ.

Уже съ двѣ недѣли гостившіе старые родители молодой хозяйки, она сама, ея мужъ, ея свекровь Прасковья Михайловна, акушерка Софья Ивановна изъ губернскаго города, даже домашняя прислуга—всѣ нервно ждали и не могли дождаться разрѣшенія важнаго событія.

Сильнѣе другихъ волновался молодой мужъ. Занятія его не ладились, онъ потерялъ интересъ ко всему и мысли все объ одномъ и томъ же не давали ему покоя.

«Какъ все это произойдетъ, да и произойдетъ ли когда-нибудь? Хорошій, здоровый и живой у него родится ребенокъ, или, можетъ быть, какой-нибудь больной, слабый или уродливый? Что это будетъ—мальчикъ или дѣвочка? Какъ, наконецъ, перенесетъ предстоявшія ей страданія Анюта?»

Всѣ эти вопросы неотступно вертѣлись въ головѣ молодого Панютина. Онъ задавалъ ихъ себѣ по нѣсколько разъ въ сутки, обращался съ ними то къ матери, то къ акушеркѣ, но, конечно, онѣ, хотя и ободряли его, говоря, что еще рѣшительно не о чемъ тревожиться, не могли успокоить его.

Когда же онъ спрашивалъ жену, какъ она чувствовала себя, она отвѣчала неопредѣленно, и то казалось, что ей очень тяжело, что положеніе ея опасно, то, напротивъ, казалось, что она совсѣмъ здорова и чувствовала себя ничуть не хуже обыкновеннаго, хотя и прошла теперь цѣлая недѣля съ того срока, въ какой, предполагали, наступятъ роды.

— Но почему же они не наступаютъ?—спрашивалъ Панютинъ у безстрастной и холодной на видъ Софьи Ивановны.— Это не опасно? Это не дурной признакъ?

Акушерка на это снисходительно улыбалась однѣми губами и отвѣчала спокойно:

— Не волнуйтесь вы, пожалуйста. Все придетъ въ свое время.

— А успѣемъ мы выписать Василія Ивановича?— продолжалъ безпокоиться Панютинъ.—Поспѣетъ онъ во̀-время?

Василій Ивановичъ былъ лучшій докторъ губернскаго города, опытный и ловкій хирургъ и акушеръ, какъ всѣ про него знали. Общимъ совѣтомъ было рѣшено послать за нимъ въ городъ, какъ только обозначится приближеніе родовъ.

— А вы думаете, не поспѣетъ? — съ нѣкоторой ироніей спрашивала Софья Ивановна.—Вы думаете, за два, три часа-то онъ поспѣетъ? Развѣ эти дѣла въ полчаса совершаются? Нѣтъ...

И она протягивала послѣднее слово скучливымъ, однообразнымъ тономъ и отворачивала въ сторону свое блѣдное, неподвижное лицо.

Панютинъ тогда уже не обращался къ ней больше. Онъ почему-то боялся акушерки и съ первыхъ же дней ея пребыванія у нихъ въ домѣ у него установились къ ней странныя, подобострастныя отношенія, которыя, онъ чувствовалъ, были неправильны, но которыхъ онъ теперь измѣнить уже не могъ.

«Отъ нея вѣдь, отъ этой маленькой, плотной женщины съ черными волосами и круглой спиной, зависитъ теперь все».

И онъ не только думалъ такъ, но былъ въ этомъ глубоко убѣжденъ.

Было воскресенье, когда послѣ утренняго кофе, который всѣ пили вмѣстѣ внизу въ столовой, старый, уже отставной генералъ Чилибинъ, худой, высокій и выцвѣтшій тесть Панютина, вышелъ на нижнюю крытую террасу и, опускаясь на свое обычное мѣсто въ углу на тростниковый диванчикъ, закурилъ свою первую папироску. Лицо генерала было бритое, желтоватое и не совсѣмъ здоровое. Глаза большіе, голубые и на выкатѣ.

Старая, уже вся сѣдая и грузная генеральша въ шелковомъ легкомъ платьѣ, съ кружевной косынкой на плечахъ и сильно напудреннымъ лицомъ, усѣлась на кресло подлѣ мужа съ вязаньемъ въ рукахъ. У ногъ ея свернулась ея любимая собачка, кривоногая такса «Миська».

Панютинъ ненавидѣлъ эту «Миську» и удивлялся, какъ можно любить такое отвратительное и уродливое животное.

Генеральша принялась вязать. Она доканчивала розовенькое одѣяльце своему будущему внуку или внучкѣ.

Вслѣдъ за стариками вышелъ изъ гостиной на террасу Панютинъ. Онъ былъ въ очень тонкомъ чесучовомъ пиджакѣ, надѣтомъ поверхъ такого же жилета, и на головѣ у него была легкая сѣрая шляпа. Лицо его, широкое и открытое, съ темной густой бородкой, румяными щеками и живыми темными глазами, было пріятно и выражало спокойный умъ. Онъ былъ средняго роста, но плечистый и на видъ сильный.

— Ухъ,—сказалъ онъ бодрымъ молодымъ голосомъ, обращаясь къ тестю, — вотъ сегодня будетъ жарко. Сейчасъ ужъ дышать нечѣмъ.

— Ужасно, ужасно,—отозвалась генеральша, качая головой, точно она отмахивалась отъ мухъ.

— Я не нахожу,— степенно сказалъ генералъ,— не хуже, чѣмъ вчера...

Панютинъ подошелъ къ верхней ступенькѣ лѣстницы, ведшей въ широкій, богато усаженный цвѣтами, цвѣтникъ, и сталъ смотрѣть передъ собой вдаль на желтыя ржаныя поля за рѣкой, гдѣ съ правой стороны длинной вереницей растянулись теперь Панютинскіе мужики, вышедшіе въ это утро косить барскую рожь. Панютинъ, увидавъ мужиковъ, обрадовался. По слухамъ, они не хотѣли убирать этимъ лѣтомъ назначенное число десятинъ хлѣба за угодья, ссылаясь и обижаясь на то, что ихъ скотину не пустили на лучшіе заливные луга, оставленные бариномъ подъ отаву. Однако вотъ слухи оказались ложными.

Издали можно было видѣть, что мужиковъ вышло на косьбу много, человѣкъ до сорока, какъ и слѣдовало по договору.

Косцы равномѣрно взмахивали крюками, медленно подвигаясь по желтому фону жнивья, и видно было, что они уже начинали уставать, потому что нѣкоторые сильно поотстали, другіе, заложивъ крюки за плечи, тихими шагами вдоволь наработавшихся людей заходили на новые ряды. Вѣроятно, мужики косили съ самаго ранняго утра, часовъ съ четырехъ.

Да и день наступалъ такой жаркій, настоящій іюльскій, какихъ еще не было за все лѣто. Стояла тишина и воздухъ былъ до того неподвиженъ, что не хотѣлось и самому двигаться и нарушать общаго покоя. Старыя развѣсистыя яблони налѣво въ саду, сплошь усѣянныя свѣтлой антоновкой, дальше высокія и уже нагнувшіяся отъ старости березы проспекта, прямо передъ домомъ далеко внизу гладкая, какъ стекло, вода рѣчного залива, сверху остановившіяся и собравшіяся въ мелкіе сквозные барашки облака на небѣ—все замерло и затихло; только мухи и осы не переставая жужжали въ окнахъ гостиной, разогрѣтыхъ тепломъ, да въ Панютинской церкви за садомъ звонили къ обѣднѣ.

Генералъ былъ въ церкви прошлое воскресенье, но жало-

вался потомъ священнику, что обѣдня началась слишкомъ рано. Поэтому сегодня звонили позднѣе.

«И вдругъ сегодня она родитъ,—подумалъ Панютинъ;—она чувствовала себя такъ странно сегодня утромъ. И родитъ благополучно! И это будетъ мальчикъ!»

Ему почему-то особенно хотѣлось, чтобы его первый ребенокъ былъ мальчикъ.

«И онъ закричитъ, онъ, ея и мой сынъ. И она сдѣлается матерью и возьметъ его къ своей груди, и все это случится на самомъ дѣлѣ и случится счастливо, какъ у другихъ».

И радость волнующая и глубокая, которую онъ скрывалъ отъ другихъ, да и боялся показывать себѣ самому, неожиданно залила ему душу. И сознаніе счастія, которое родилось въ немъ со времени его женитьбы и особенно съ того времени, какъ Анюта сдѣлалась въ ожиданіи, со страшной силой проснулось въ немъ въ эту минуту.

«Да, да,—повторялъ онъ про себя теперь, все еще не вполнѣ вѣря себѣ,—и вотъ осуществится, наконецъ, то, о чемъ онъ мечталъ столько лѣтъ: осуществится семья... его семья. Что нужно ему еще? Ничего!.. нѣтъ, ничего! Нужно еще многое, много такихъ прекрасныхъ, здоровыхъ дѣтей, какъ то, которое родится, нужно еще... Да мало ли что еще нужно!.. Это все дѣло будущаго, дѣло судьбы. А пока спасибо ей, что все идетъ такъ, какъ нужно.

II.

«А хорошо это, что мужики косятъ за угодья нашу рожь?—неожиданно пришла ему въ голову мысль въ то время, какъ глаза его упорно смотрѣли вдаль на работавшихъ въ полѣ мужиковъ.—Хорошо, честно развѣ пользоваться для своихъ выгодъ неравенствомъ положенія, пользоваться ихъ безземеліемъ для того, чтобы они даромъ на насъ работали?»

И эта мысль сразу испортила счастливое настроеніе Панютина.

«Вѣдь вся ихъ жизнь въ такой зависимости отъ нашихъ земель,—продолжалъ онъ думать дальше,—что имъ безъ нихъ дохнуть нельзя. Намедни еще прохожій московскій мужикъ жаловался, что имѣнія ихъ графа кругомъ ихъ опоясали, какъ все равно огнемъ. Куда ни выйдешь, куда овечку ни выпустишь, все графскія».

То же самое и здѣсь.

«И вотъ управляющій поднесетъ имъ водки за работу. Какъ будто можно отблагодарить ихъ этимъ ядомъ за трудъ! Правда, можно отуманить ихъ сознаніе, чтобы не слишкомъ сознавали они униженность и забитость своего положенія, это можно,—подумалъ съ какой-то гадливостью Панютинъ,—и врядъ ли мужики бы такъ дорожили этимъ обычаемъ поднесенія имъ вина, кабы они жили лучше, кабы не было у нихъ этой потребности забыться, залить свое горе и подавленность. Но чтобы это было хорошо?» И ему стало еще непріятнѣе на душѣ при мысли, что его управляющій, можетъ быть, отъ его же имени будетъ поить и поитъ мужиковъ, несмотря на многократное запрещеніе этого. Онъ рѣшилъ еще разъ, и теперь подъ угрозою, прогнать управляющаго въ случаѣ непослушанія, запретить ему подносить водку кому бы то ни было.

«Но что же дѣлать, чтобы помочь имъ?—спросилъ себя Панютинъ вслѣдъ за этимъ.—Какъ по-настоящему и до конца помочь имъ?»

И онъ вспомнилъ, какъ онъ еще холостымъ, два года тому назадъ, много думалъ обо всѣхъ этихъ вопросахъ и какъ одно время мечталъ отдать часть своей земли мужикамъ.

Но онъ не сдѣлалъ этого. Во-первыхъ, потому что мать считала это безуміемъ и это страшно бы огорчило ее; во-вторыхъ, потому что у него самого не хватило бы рѣшимости. Теперь, женатый, онъ не сдѣлаетъ этого уже ради жены и будущихъ дѣтей.

Впрочемъ, онъ попробовалъ разъ говорить женѣ, что нехорошо и нечестно владѣть крупною земельною собственностью и хорошо было бы отдать часть ея тѣмъ, у кого земли не хватаетъ, но это ей показалось настолько странной, неразумной и неосуществимой мечтой, что съ тѣхъ поръ и самъ Панютинъ рѣшилъ, что, видно, мысль отдать часть имѣнія мужикамъ надо теперь навсегда оставить.

Между тѣмъ личная эгоистическая жизнь все сильнѣе захватывала его со времени женитьбы. Онъ чувствовалъ, что женатому съ каждымъ днемъ все меньше и меньше остается ему времени думать и что на мѣсто прежнихъ разсужденій становятся заботы и дѣло: во-первыхъ, интересы настоящей и будущей семьи занимали его; во-вторыхъ, хозяйство; въ-третьихъ, вопросы народнаго образованія и земства, гдѣ онъ оставался гласнымъ; въ-четвертыхъ, его личныя занятія и, между прочимъ, составленіе практическаго сельскохозяйственнаго календаря, которое подвигалось быстро и которымъ онъ былъ доволенъ. Жизнь его была полна, была пущена въ ходъ и остановить ее или выйти изъ ея колеи казалось для него невозможнымъ.

«Женатымъ еще труднѣе что-нибудь сдѣлать такое коренное, крупное, какъ, напримѣръ, отдать землю,—говорилъ теперь про себя Панютинъ, думая все это;—тогда холостымъ было легче...

— Впрочемъ, дороже всего сознавать правду,—утѣшилъ онъ себя,— сознавать ее... А время само разберетъ и разрѣшитъ несправедливости и несовершенства жизни и міра... Оправдывать ихъ нечестно и невозможно, но насиловать ихъ тоже невозможно. Что же я могу сдѣлать теперь? Отдать имъ землю?— подумалъ онъ.—Это значило бы убить Анюту, лишить наслѣдства дѣтей; это значило бы, что я долженъ любить жену и будущихъ дѣтей меньше или, по крайней мѣрѣ, столько же сколько мужиковъ. Но вѣдь это была бы ложь. Это невозможно.

«Да, да,—повторилъ онъ мысленно,—время все разберетъ, устроитъ, только не надо мѣшать ему...»

Но онъ чувствовалъ въ глубинѣ души, что мысль эта была односторонняя, несправедливая и потому нехорошая.

— Ты о чемъ такъ глубокомысленно задумался?—спросилъ въ это время генералъ своимъ скрипучимъ, нечистымъ отъ сильнаго куренія голосомъ.

Панютинъ круто повернулся къ тестю и, точно не сразу рѣшаясь, сказалъ, указывая рукой въ поле:

— Вонъ о нихъ.

— О комъ?—не понялъ генералъ.—О мужикахъ, которые тамъ косятъ? Что же о нихъ думать?

— Многое,—проговорилъ Панютинъ.

— Что же именно? Я вотъ думалъ, почему они работаютъ въ воскресенье? Ты не знаешь?

— Не знаю...

— А что же это они косятъ?—спросилъ генералъ.

— Нашу рожь,—сказалъ Панютинъ;—они должны убирать ее за угодья, которыми у насъ пользуются, и вотъ я думалъ, что это нехорошо.

— Конечно. Сегодня надо бы имъ въ церкви быть, а они въ полѣ,—согласился генералъ.

— Не то скверно, что они въ полѣ, а то, что на насъ работаютъ. Я не могу думать объ этомъ спокойно каждый разъ, что вижу это,—сказалъ Панютинъ.

Генералъ переложилъ худую ногу на ногу и, точно не понимая мудреныхъ словъ зятя, нагнулъ голову и призадумался.

— Хм...—промычалъ онъ глубокомысленно,—это что-то для меня непонятно.

— У нихъ мало земли, у насъ много,—сказалъ Панютинъ, объясняя,—что же тутъ непонятнаго? Ну, вотъ это и нехорошо. У нихъ нѣтъ луговъ, мы пускаемъ ихъ скотину на

наши, а за то заставляемъ ихъ на насъ работать. За что же, за какія наши заслуги и за ихъ грѣхи они должны на насъ даромъ работать? Вѣдь передъ лицомъ истины какъ на это отвѣтить?

— Передъ лицомъ истины?—спросилъ генералъ съ оттѣнкомъ насмѣшливости.—Что же, тутъ и отвѣчать нечего, это очевидно само собой. Мы—дворяне, мы служимъ, отцы наши служили. О нихъ же, т.-е. о народѣ, печемся, за то и владѣемъ имѣніями и землями бо̀льшими, чѣмъ у нихъ. Это очень просто.

— А я думаю, что совсѣмъ не просто,—сказалъ Панютинъ;—во-первыхъ, если бы мы о нихъ не пеклись, они бы жили гораздо лучше безъ насъ; во-вторыхъ, за службу платится отдѣльное жалованье, а землевладѣніе наше—совсѣмъ отдѣльная статья, особенно въ наше время.

— Значитъ, надо отдать землю мужикамъ, а самому пойти къ нимъ въ работники?—спросилъ генералъ, выпучивая нижнюю губу и поднимая сѣдыя рѣдкія брови,—такъ?! Какъ тотъ князь Дилковъ, и ты хочешь такъ поступить? Поздравляю.

И генералъ, мотнувъ головой впередъ, замолчалъ, какъ будто дальше говорить уже было нечего.

Панютинъ улыбнулся.

— Къ сожалѣнію, я не хочу такъ поступить,—сказалъ онъ озабоченно, глядя въ сторону двери изъ гостиной.

— Я хочу пока только одного—это благополучныхъ Анютиныхъ родовъ,—добавилъ онъ, желая кончить этимъ начавшійся разговоръ, который, онъ зналъ, ни къ чему не приведетъ, кромѣ непріятному.

— Вы не знаете, куда они пошли?—обратился онъ къ генеральшѣ. Она подняла голову и сказала, глядя на него черезъ очки:

— Не знаю; я сама безпокоюсь. Пошли что-то смотрѣть

въ спальню. Прасковья Михайловна, твоя мать, все волнуется, что забудемъ что-нибудь.

— Уже не началось ли?—вдругъ испуганно спросилъ Панютинъ и, поблѣднѣвъ въ лицѣ, онъ скорыми шагами пошелъ съ террасы въ домъ.

— Пора, коли и началось,—проворчалъ генералъ.—Какія, однако, идеи пошли у молодежи: совѣстно владѣть землей, быть помѣщикомъ! Я давно, впрочемъ, замѣчалъ, что у него здѣсь не совсѣмъ ладно.

Генералъ показалъ себѣ на лобъ сухимъ, жилистымъ пальцемъ.

— Откуда только они набираются всей этой философіи?

— C'est du Tolstoy,—сказала генеральша успокоительно.—Вѣдь Владиміръ знакомъ съ тѣмъ художникомъ, а художникъ—настоящій толстовецъ. Онъ во многомъ повліялъ на Владиміра...

— Я не понимаю одного,—тревожно моргая глазами, сказалъ генералъ:—почему мнѣ должно быть стыдно владѣть землей и быть дворяниномъ? Я, напротивъ, горжусь этимъ. А молодежь нынѣшняя и не смотритъ на это. Лицо истины? Ахъ, Боже мой, Боже мой!

Генералъ вздохнулъ.

— Ну что, коли онъ дѣйствительно вздумаетъ отдать Панютино мужикамъ! Чѣмъ жить тогда?—спросилъ онъ, помолчавъ.

— Только разговоръ,—опять своимъ успокоительнымъ тономъ сказала генеральша;—повѣрь мнѣ, que Владиміръ n'est pas du tout si bête. Онъ говоритъ одно, а дѣлаетъ другое. Всѣ умные люди вѣдь такъ дѣлаютъ. Это очень удобно. Ты слышалъ, онъ еще имѣньице прикупилъ и очень выгодно. А какой онъ хозяинъ строгій, расчетливый. Прелесть... Все разговоры.

— Тогда зачѣмъ же ихъ разговаривать,—сердито сказалъ генералъ.

— Это другой вопросъ. Ну, мало ли что. Эти идеи въ воздухѣ,— опять утѣшала генеральша,— но я убѣждена qu'il n'est pas si bête. Однако они совсѣмъ пропали и онъ тоже...

III.

Въ эту минуту Панютинъ, растерянный и испуганный, показался въ гостиной. У него было такое лицо, точно онъ сдѣлалъ или увидѣлъ сейчасъ что-нибудь ужасное, какое-нибудь страшное преступленіе.

— Началось! —выговорилъ онъ, выбѣгая на террасу.—Надо сію минуту за докторомъ. Поспѣетъ ли? Вотъ я говорилъ десять разъ, что нужно было заранѣе его выписать.

— А что же? Что? Плохо что-нибудь?—спросила генеральша, забывая свою полноту и вскакивая на ноги.

— Ну, и слава Богу,—проговорилъ генералъ, тоже вставая съ своего мѣста. Ему уже порядочно надоѣло его двухнедѣльное пребываніе у зятя и онъ стремился на море, на морскія купальни, куда онъ привыкъ ѣздить издавна каждое лѣто.

— Ничего плохого еще нѣтъ,—сказалъ Панютинъ, отвѣчая на вопросъ тещи,—но она легла уже и говоритъ, что не можетъ больше ходить...

Генеральша, болѣе ничего не спрашивая и снимая по дорогѣ съ носа очки, съ поразительной быстротой поплыла во внутреннія комнаты дома. Панютинъ бросился дальше въ конюшню. Онъ побѣжалъ кратчайшимъ путемъ, прямо черезъ яблочный садъ.

— Сію секунду поѣзжай за докторомъ!—закричалъ онъ еще издали, обращаясь къ кучеру Ѳедору, выметавшему навозъ изъ дверей конюшни.—Знаешь доктора Пересвѣтова на Дворянской улицѣ въ своемъ домѣ? не знаешь?

— Ну, какъ не знать!—сказалъ Ѳедоръ, прислоняя метлу къ притолкѣ двери и снимая фуражку.

— Сѣдлай «Мальчика»,—продолжалъ Панютинъ,—и гони его что есть духу, только не загони смотри, чтобы на дорогѣ не палъ, тогда пѣшкомъ хуже не дойдешь! Понимаешь?

— Ну, вотъ еще!—сказалъ Ѳедоръ.

— Гдѣ же уздечка? Сѣдло давай. Ну, живѣй, живѣй... ради Бога.

И Панютинъ не могъ больше говорить. Онъ задыхался отъ волненія и бѣга.

Ѳедоръ сейчасъ же понялъ, въ чемъ дѣло, и заторопился, сперва какъ-то безъ толку суясь то въ тотъ, то въ другой уголъ конюшни.

— Когда пріѣдешь въ городъ,—еще добавилъ Панютинъ,—найми извозчика получше и на этомъ извозчикѣ пусть докторъ ѣдетъ сюда.

Ѳедоръ ничего на это не отвѣтилъ, такъ что Панютину пришлось спросить его, слышалъ ли онъ послѣднія слова.

— Ну, какъ же не слыхать; сдѣлаемъ все, будьте покойны.

И Ѳедоръ принялъ дѣловой, озабоченный видъ.

Черезъ пять минутъ «Мальчикъ» былъ осѣдланъ и Ѳедоръ, непривычно сидя на сѣдлѣ съ очень короткими, нарочно убавленными имъ для удобства стременами, выѣхалъ со двора на дорогу, высоко взмахивая на рыси локтями въ красной кумачевой рубахѣ. Панютинъ побѣжалъ назадъ въ домъ.

«Господи, — повторялъ онъ про себя теперь, — Господи, сдѣлай, чтобы все было благополучно... Господи...»

Давно душа его такъ горячо не молилась. И онъ удивился самъ своему волненію и страху. Онъ никакъ не ожидалъ, что такъ взволнуется съ самаго начала, когда, въ сущности, еще бояться нечего было.

Однако сердце его неровно и быстро колотилось и онъ не могъ успокоить его.

Подлѣ нижняго флигелька, гдѣ помѣщалась контора, Панютину встрѣтился его управляющій—латышъ, со вкусомъ ку-

рившій папироску и возвращавшійся откуда-то. Латышъ, какъ всегда, улыбнулся своею глупою улыбкой и приподнялъ свою соломенную шляпу.

— Можно быть довольными, пожалуйста,—проговорилъ онъ, уже тономъ своимъ достаточно выражая, насколько онъ былъ доволенъ, — можно быть очень довольными, пожалуйста; мужички все-таки косятъ рожь.

— Я видѣлъ. Прекрасно, — сказалъ Панютинъ, на минуту останавливаясь.—А я послалъ за докторомъ,—добавилъ онъ:— жена нездорова. Теперь, вѣроятно, нѣкоторое время я мало буду входить въ дѣла, такъ что прошу васъ, ведите внимательно хозяйство...

— Охъ, охъ, пожалуйста, будьте покойны, будьте совершенно покойны,—заговорилъ латышъ, опять приподнимая шляпу...—Пожалуйста, все будетъ исполнено.

Панютинъ побѣжалъ дальше, опять черезъ яблочный садъ, нагибаясь подъ старыми яблонями и нѣсколько разъ ударяясь головой о крѣпкія яблоки на вѣткахъ.

«И когда онъ родится, — повторялъ онъ мысленно, — и вырастетъ, мы будемъ вмѣстѣ съ нимъ хозяйничать... Это отлично, что мужики косятъ рожь... хотя и мало у нихъ земли и жалко это... но вотъ овесъ какъ уберемъ? Отличный овесъ; на-дняхъ готовъ, и своихъ рабочихъ опять не хватитъ...»

Подбѣгая къ дому, Панютинъ наткнулся на знакомаго ему и непріятнаго для него мужика Алексѣя Григорова—вора, недавно укравшаго изъ конюшни Панютина сѣдло управляющаго, которое онъ потомъ продалъ объѣздчику Копыловскаго лѣса. Кража эта на-дняхъ открылась; объѣздчикъ, у котораго нашли сѣдло, прямо показалъ на Алексѣя, и вотъ можно было начать противъ него дѣло и навѣрняка посадить въ острогъ.

Управляющій, взбѣсившійся на него, ни за что не хотѣлъ его простить. Онъ былъ золъ на него и за другія продѣлки—

за порубки, за постоянныя потравы и непослушаніе—и теперь хотѣлъ уже сразу отомстить ему за все.

Вся эта исторія была очень непріятна Панютину и, чтобы помирить управляющаго съ воромъ, онъ придумалъ наказать послѣдняго не острогомъ, а другими средствами. Самымъ существеннымъ былъ бы отказъ отъ испольной земли и отъ права пользованія барскими угодьями и покосами. Такъ и рѣшилъ Панютинъ, несмотря на недовольство и протестъ управляющаго. Испольное сѣно было уже задержано у Алексѣя и все перевезено на барское гумно. Теперь, очевидно, онъ пришелъ просить о немъ.

Мужикъ онъ, правда, бѣдный и многосемейный. Панютинъ зналъ это. Когда онъ зашелъ разъ въ его избу, онъ былъ пораженъ ея грязью и нищетой. Однако простить Алексѣя на этотъ разъ было бы прямо безнравственно. Пусть это будетъ жестоко отнимать у него необходимое для его скотины сѣно, пусть онъ продастъ свою послѣднюю лошадь, но простить его нельзя. Если бы они возбудили противъ него дѣло, то ему пришлось бы еще хуже. Острогъ совсѣмъ бы разорилъ и погубилъ его. А тутъ есть надежда на его исправленіе—матеріальное и нравственное.

Увидавъ подбѣгавшаго къ дому барина, Алексѣй снялъ фуражку съ своей длинной, острой головы и, принявъ покорный видъ, сталъ подходить къ нему. Онъ въ ноги не упалъ и не сталъ кланяться ему униженно, а разъ поклонившись и сказавъ «здравствуйте», онъ прямо приступилъ къ дѣлу. Онъ былъ въ длинномъ, порванномъ во многихъ мѣстахъ, кафтанѣ и съ почему-то повязанной платкомъ шеей; худое, землистаго цвѣта лицо его было блѣдно и выражало усталость и недовольство.

— Прикажите сѣно отдать,—началъ онъ тономъ, точно несправедливо обидѣли его, — вѣдь это разореніе мое чистое... Что же я зиму-то стану дѣлать? Послѣднюю коровенку, стало быть, продавать? А ребятъ-то семеро. Простите, пожалуйста.

Алексѣй говорилъ непріятнымъ тономъ.

— А зачѣмъ же ты воруешь?

— Ей-Богу, не я, — заговорилъ Алексѣй,—ну, вотъ побожился. Мнѣ это сѣдло прохожій человѣкъ продалъ, а я объѣздчику перепродалъ.

Панютину стало больно отъ этой грубой лжи.

«И божится еще,—подумалъ онъ брезгливо;—ну, гдѣ тутъ честность, гдѣ правда?»

И ему стало грустно и тяжело.

— Нѣтъ, нѣтъ, Алексѣй, ступай,—сказалъ онъ строго,—мнѣ некогда сегодня, да и все равно простить тебя нельзя, справедливость требуетъ наказать тебя. Твое сѣно будетъ продано и деньги отданы объѣздчику, который заплатилъ тебѣ за сѣдло восемь рублей. Такъ что мы сѣдло это не себѣ беремъ. А ты лишился сѣна по своей винѣ, потому что взялъ чужое.

— Да вѣдь ѣсть нечего,—заговорилъ Алексѣй;—съ Рождества покупаю, а откуда взять? И такъ всѣхъ овецъ продалъ. Податя стоятъ; староста требуетъ, семейство; отдайте, ради Бога, сѣно. Я сѣдло не бралъ... вотъ предъ Господомъ!..

— Иди,—сказалъ Панютинъ и вбѣжалъ опять черезъ цвѣтникъ и террасу въ гостиную.

Генералъ встрѣтился ему въ дверяхъ.

— Да, пожалуй, что и началось не на шутку,—сказалъ онъ озабоченно.—Послалъ за докторомъ?

— Послалъ.

— Ну, иди, иди къ ней. Она тебя спрашивала,—добавилъ генералъ, проходя короткими шажками къ своему креслу на террасѣ и закуривая еще папироску.

Панютинъ прошелъ нѣсколько комнатъ и на цыпочкахъ взошелъ въ спальню жены.

Она лежала на спинѣ, неподвижно устремивъ глаза передъ собой. Руки ея безпомощно и слабо лежали по двумъ сторо-

намъ ея некрасиваго, изуродованнаго беременностью, тѣла. Лицо было блѣдно и испуганно и громадные синіе круги обозначались подъ ея красивыми большими сѣрыми глазами съ длинными рѣсницами. Кожа туго обтянула скулы, лобъ и щеки, точно подъ кожей совсѣмъ не было мяса и прямо начинались кости. Она громко дышала полуоткрытымъ, сдѣлавшимся некрасивымъ и непріятнымъ, ртомъ съ рѣдко сидѣвшими подъ верхней оттопыренной губой крѣпкими передними зубами.

Панютинъ подошелъ къ ея изголовью и сѣлъ подлѣ нея на стулъ. Онъ взялъ ея руку въ свою и сталъ смотрѣть ей въ лицо. Она не сразу замѣтила его и не сразу обернула на него вой взглядъ... точно это стоило ей большого труда. Наконецъ, она взглянула ему въ глаза, и ея пересохшія блѣдныя губы шевельнулись, силясь сложиться въ улыбку.

— Что?—спросилъ Панютинъ.

— Мнѣ страшно вдругъ стало,—шепнула она со вздохомъ:— я умру.

— Глупости,—сказалъ Панютинъ.—А болитъ что-нибудь?

— Нѣтъ. Но тяжело и вдругъ все точно упало внизъ и я сама упала...

Она глубоко передохнула и, замолчавъ, опять отвела глаза отъ мужа и стала безучастно смотрѣть въ пространство.

IV.

Въ комнатѣ были еще акушерка, Прасковья Михайловна и генеральша. Послѣдняя сидѣла на кровати у ногъ дочери и нѣжнымъ, сострадательнымъ взглядомъ смотрѣла на нее. Глаза ея уже были заплаканы. Прасковья Михайловна, высокая и худая женщина, одѣтая вся въ черномъ, съ плоскимъ и серьезнымъ лицомъ, вмѣстѣ съ акушеркой внимательно готовили и промывали какую-то кружку.

Софья Ивановна уже успѣла надѣть на себя бѣлое акушер-

ское одѣяніе, и бѣлыя руки ея теперь оставались голыми до самыхъ плечъ. Въ углу спальни, подлѣ окна, стояла приготовленная для будущаго ребенка колясочка съ клеенчатымъ верхомъ и позолоченными краями, за ней на полу, опрокинутая дномъ кверху, стояла жестяная ванночка.

Панютинъ продолжалъ держать руку жены съ опухшими, посинѣвшими на ней жилами и, глядя на ея лицо, онъ думалъ съ серьезностью и удивленіемъ:

«И это та самая Анюта, живая, рѣзвая, веселая и хорошенькая дѣвочка, бывшая моей невѣстой два года тому назадъ! Можетъ ли это быть? Что сталось съ ней? Куда дѣвалась она со своимъ огнемъ и силами? Куда ушло все это?»

Панютину даже грустно стало отъ этихъ мыслей, но тотчасъ онъ подумалъ, что, вѣроятно, всѣ тѣ силы, которыхъ онъ не видѣлъ теперь, ушли въ ребенка, и опять ему стало радостно.

«Лишь бы только все кончилось благополучно»,—подумалъ онъ въ сотый разъ.

Роды подвигались очень медленно. Прошло больше трехъ часовъ съ тѣхъ поръ, какъ роженица слегла, а настоящихъ болей еще не наступало. Акушерка даже не была вполнѣ увѣрена, что дѣйствительно приближалось что-нибудь серьезное.

Около часа дня пріѣхалъ изъ города докторъ. Услыхавъ за окномъ звукъ пролетки, Панютинъ вышелъ на крыльцо.

— Ну что, поспѣлъ?—заговорилъ своимъ грубымъ басомъ докторъ, входя въ домъ, весь сѣрый отъ пыли.—Ну, вотъ, я такъ и зналъ. А вы-то, небось, волнуетесь, безпокоитесь. Перестаньте, что тамъ. Дѣло «обыкновенное».

Докторъ любилъ иногда жаргонить. И онъ крѣпко пожалъ руку Панютина своей здоровенной рукой.

— Фу, пылища какая. И жара же, мой Господи, въ городѣ. У васъ тутъ еще благодать, рай. Позвольте вымыться маленько, а то убрался хуже самого чорта.

И послѣднее слово прозвучало такъ неожиданно и грубо, что Панютинъ невольно поморщился и ему стало непріятно. Онъ сейчасъ же провелъ доктора наверхъ въ свой кабинетъ, гдѣ указалъ ему на мраморный умывальникъ съ педалью.

— Вотъ и превосходно,—обрадовался докторъ.

— Знаете, Софья Ивановна еще сомнѣвается,—между тѣмъ сказалъ ему Панютинъ,—хотя я не думаю.

— Фальшивая, стало быть, тревога, — сказалъ докторъ, — вотъ-те на!

И онъ закатился мелкимъ и заразительнымъ нервнымъ смѣхомъ. Панютинъ нахмурился. Онъ пристальнѣе взглянулъ въ красное жирное лицо доктора, на его, заплывшіе жиромъ, чуть видные глазки, и ему стало еще непріятнѣе. Онъ вспомнилъ о томъ, что Иванъ Васильевичъ всегда и помногу пилъ, и ему пришло сомнѣніе, хорошо ли онъ сдѣлалъ, что пригласилъ его и поддался просьбамъ тестя и тещи и собственному безпокойству.

Но вѣдь докторъ Пересвѣтовъ—извѣстный и опытный акушеръ, у сколькихъ онъ перебывалъ на родахъ, развѣ можно сомнѣваться въ немъ?

Панютинъ постарался утѣшить себя этою мыслью.

Между тѣмъ Иванъ Васильевичъ уже сдѣлалъ очень серьезное, слишкомъ серьезное послѣ недавняго смѣха, лицо и, засучивъ рукава на красныхъ ручищахъ, принялся мыться. Громадная его спина, курчавая голова на красной жирной шеѣ, толстыя безформенныя ноги—все это ярко напомнило въ эту минуту Панютину происхожденіе доктора. Когда онъ вычистился и вымылся, Панютинъ повелъ его въ спальню. Идя съ нимъ рядомъ, онъ замѣтилъ, что отъ него сильно пахло виномъ. Иванъ Васильевичъ по дорогѣ громко сморкался въ темный цвѣтной платокъ. Проходя мимо столовой, онъ вспомнилъ о привезенной имъ и оставленной въ передней сумкѣ съ инструментами и, забѣжавъ за нею, понесъ съ собой, прижавъ подмышкой. Когда они входили въ спальню, на лѣстницѣ пробило два часа.

Роженица лежала все въ томъ же положеніи—на спинѣ, какъ заставляла ее акушерка. Она только-что вставала, пробовала стоять на ногахъ, но почувствовала, что это ей становится все труднѣе. Докторъ поздоровался со всѣми въ комнатѣ и подошелъ къ больной. Она чуть слышно стонала.

— Что, трудно, милая барынька? А?—проговорилъ докторъ, садясь на стулъ.—Что же чувствуете? Разскажите.

Роженица стала неохотно и съ трудомъ произнося слова отвѣчать. Докторъ задалъ ей нѣсколько вопросовъ, потомъ сдѣлалъ изслѣдованіе и объявилъ, что роды несомнѣнно начались.

— Идите обѣдать,—нервно проговорила роженица, уставшая отъ людей и суеты кругомъ:—ужъ третій часъ. Володя, веди всѣхъ, пожалуйста, въ столовую, пора...

Ее безпокоило, что время обѣда давно прошло, а изъ-за нея никто еще не думалъ о немъ.

— Идите, правда, пока можно,—сказала акушерка,—а я здѣсь побуду.

— Вамъ сюда принесутъ или туда рядомъ,—волновалась роженица.

— Не безпокойтесь, лежите смирно,—сказала сухо акушерка,—теперь это не ваше дѣло.

— Вы обѣдали, Иванъ Васильевичъ?—тихо обратился Панютинъ къ доктору. Онъ былъ увѣренъ, что тотъ уже пообѣдалъ.

— Обѣдать хоть не обѣдалъ, а закусилъ малость.

— Такъ вы, можетъ быть, закусите съ нами?—сказалъ Панютинъ еще тише, желая показать доктору своимъ голосомъ, чтобы онъ не такъ громко говорилъ.

И, пригласивъ всѣхъ за собой, онъ вышелъ изъ спальни.

— А ты ничего не хочешь?—предложила Прасковья Михайловна, осторожно подходя къ снохѣ. Она только закачала

отрицательно и нетерпѣливо головой и лицо ея выразило досаду и страданіе.

И вотъ, наконецъ, ее оставили одну и она облегченно вздохнула. Ей казалось, что никто не понималъ того, что съ ней дѣлалось. Да и сама она чувствовала и понимала только одно: это, что что-то неумолимое, громадное и страшное надвигалось на нее все ближе, росло въ ней самой и предотвратить этого было уже невозможно ничѣмъ. Губы ея складывались въ строгія, прямыя линіи и брови непроизвольно хмурились.

Въ столовой всѣ сѣли къ обѣду серьезные и сосредоточенные. Даже докторъ старался придать своему лицу соотвѣтствовавшее общему настроенію выраженіе. Но бѣда его была въ томъ, что онъ не умѣлъ дѣлать серьезнаго лица; оно привыкло у него или всегда улыбаться и смѣяться, или принимало такое мрачное, почти свирѣпое выраженіе, что страшно было смотрѣть на него. Поэтому, чтобы какъ-нибудь соблюсти приличіе, докторъ сталъ говорить и разсказывать о томъ, какъ въ городѣ только-что задавили на улицѣ нищую старуху. Генералъ глубокомысленно ѣлъ супъ, подвязавъ салфетку подъ бритый подбородокъ, и слушалъ доктора. Генеральша не могла ѣсть совсѣмъ и только смотрѣла на генерала, досадуя въ душѣ на то, какъ тотъ медленно и некрасиво ѣлъ. Подлѣ нея на полу сидѣла, подкусивъ губу, кривоногая такса, которую ненавидѣлъ Панютинъ.

— Хорошо еще, что не до смерти,—сказалъ генералъ, когда докторъ кончилъ разсказъ о старухѣ, и всѣ неловко и долго молчали.

Тогда докторъ, отъ супа отказавшійся, окинулъ столъ взглядомъ и, обращаясь ко всѣмъ вообще, проговорилъ:

— Вы позволите мнѣ выпить вина? А то жажда замучила.

— Пожалуйста,—сказалъ Панютинъ, и онъ въ ужасѣ посмотрѣлъ на то, какъ докторъ, опрокинувъ надъ своимъ стаканомъ бутылку краснаго вина, наполнилъ его доверху.

Для доктора это былъ второй способъ соблюсти приличіе. Разговоръ не клеился, стало быть, надо было что-нибудь дѣлать, пріятнѣе всего пить, потому что мрачность на себя напускать при людяхъ было невозможно, а смѣяться и шутить въ данномъ случаѣ тоже не годилось.

Къ концу обѣда стаканъ доктора былъ имъ допитъ до дна.

V.

Прошло около четырехъ часовъ послѣ обѣда и ходъ родовъ сильно подвинулся впередъ. Всѣмъ было уже ясно и несомнѣнно теперь, что это наступили именно они. Тупыя неопредѣленныя боли все усиливались и перешли, наконецъ, въ ясно обозначенныя схватки. Онѣ то подступали къ роженицѣ, то опять оставляли ее, чтобы потомъ вернуться съ новой силой.

Больная начинала покрикивать.

Давно уже она стонала громкимъ жалобнымъ голосомъ и по этому стону можно было слѣдить за тѣмъ, какъ то усиливались, то исчезали страданія.

Она лежала все въ томъ же положеніи—на спинѣ, и только взглядъ ея прозрачныхъ сѣрыхъ глазъ на блѣдномъ, осунувшемся лицѣ сталъ еще острѣе и безпокойнѣе.

— Ой... о..., ты не знаешь, что это такое,—обращалась она взволнованной скороговоркой и почти шопотомъ къ мужу въ періоды облегченія.—Это ужасно, ужасно...

Панютинъ сидѣлъ у ея изголовья съ правой стороны и все держалъ ея руку. Онъ старался успокоить жену и, часто нагибаясь надъ ней, утѣшалъ и ободрялъ ее нѣжными, почти страстными словами. Чувство отвѣтственности передъ чѣмъ-то щемило ему сердце.

Генеральша сидѣла противъ Панютина, тоже у изголовья дочери. Она продолжала растерянно плакать и въ минуту рѣзкихъ болей прятала лицо въ руки и про себя шептала что-то.

Докторъ и акушерка стояли у другого конца широкой и низкой кровати и оба внимательно слѣдили.

Прасковья Михайловна почти все время не отходила отъ нихъ.

Генералъ то входилъ въ спальню и садился на диванчикъ подъ окномъ, то опять уходилъ куда-то, и по лицу его и глазамъ видно было, что онъ былъ разстроенъ и сердитъ. Зная его вспыльчивый и самодурный нравъ, Панютинъ боялся, какъ бы тесть его и теперь, во время родовъ, не надѣлалъ и не наговорилъ чего-нибудь лишняго. Онъ любилъ всюду и во все вмѣшиваться и дѣлалъ это всегда нескладно и безтактно. Если онъ начнетъ теперь вмѣшиваться въ дѣйствія акушерки или доктора, то врядъ ли изъ этого выйдетъ что-нибудь хорошее.

Но генералъ, къ счастію, молчалъ и только хмурился и поджималъ свои старыя обрюзглыя губы.

Докторъ сидѣлъ на концѣ кровати и мрачное лицо его стало теперь еще краснѣе. Потъ крупными каплями выступилъ у него на лбу. Онъ постоянно обтиралъ его своимъ темнымъ платкомъ и глазки его моргали.

Панютинъ въ ужасѣ видѣлъ, что они смотрѣли какъ-то тупо, сквозь какой-то туманъ, точно никакой жизни не оставалось въ нихъ.

Впрочемъ, докторъ всегда былъ такой и глаза его всегда были такіе; всегда онъ пилъ, никогда никто не видалъ его вполнѣ трезвымъ, такъ что, въ сущности, безпокоиться нечего было. Онъ и теперь былъ въ своемъ обычномъ, для него нормальномъ, видѣ.

И вотъ наступали еще худшія, еще сильнѣйшія боли.

Пальцы роженицы судорожно впивались въ руку Панютина, она вся точно напрягалась, вытягивалась, начинала метаться и сперва глубокіе стоны, потомъ крикъ раздавались въ комнатѣ.

— Благополучно идетъ?—шопотомъ спрашивала Прасковья

Михайловна у доктора, перегибаясь къ нему черезъ желѣзный передокъ кровати.

— Вполнѣ...—отвѣчалъ докторъ.

— Ну, отдохните, отдохните,—обращался онъ къ роженицѣ,—старайтесь успокоиться.

— Ой... охъ... о...—кричала больная,—ой... не могу... не могу больше... и... и...

И крикъ ея перешелъ въ какой-то пронзительный, дикій визгъ.

— Ну, милая, успокойся же,—говорилъ ей Панютинъ, чувствуя, что и ему больно, невыносимо больно вмѣстѣ съ ней, и что руки его холодѣютъ.—Полежи смирно, постарайся...

— Не могу, не могу я,—уже понижая голосъ прокричала роженица.—Не могу, не могу...

И опять, очевидно, ей стало легче. Роды двигались самымъ правильнымъ, естественнымъ ходомъ.

Послѣ приступа болей роженица кое-какъ успокоивалась и отдыхала и, хотя со страшнымъ крикомъ и визгомъ, но все-таки съ достаточнымъ запасомъ силъ и мужества она встрѣчала новыя, еще сильнѣйшія схватки.

Наступилъ вечеръ. На лѣстницѣ, за дверью, старые стѣнные часы пробили семь.

Вотъ уже почти девять часовъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ больная почувствовала себя нехорошо. Но этого было еще очень мало. Сама генеральша рожала перваго ребенка двадцать четыре часа, а Прасковья Михайловна—цѣлыхъ сорокъ.

Прошло еще нѣсколько томительныхъ часовъ. За окнами совсѣмъ уже смерклось, и акушерка зажгла въ спальнѣ на столахъ двѣ приготовленныя лампы въ двухъ углахъ комнаты.

Роженица лежала съ закрытыми глазами и, тяжело и часто дыша, съ ужасомъ ждала слѣдующихъ, приближавшихся и неминуемыхъ страданій.

И чѣмъ невыносимѣе становились они, тѣмъ меньше сдер-

живала она свой крикъ, который доходилъ теперь до высшей ноты ея голоса.

На ступенькахъ лѣстницы, за будущею дѣтской, сидѣли дѣвушка Саша и новая, недавно нанятая къ будущему ребенку, нянька. Обѣ онѣ теперь навзрыдъ плакали, слушая крикъ барыни. Сначала онѣ пришли послушать ее изъ простого любопытства, но потомъ жалобный, молодой, рыдавшій вопль роженицы пробралъ и ихъ и онѣ обѣ заревѣли.

— Ужасть слушать, — сказала уже пожилая толстенькая нянька, утирая слезы бѣлымъ фартукомъ,—ужасть слышать... Ишь, какъ заливаются. Вотъ и господамъ все равно страдать приходится, хоть и акушерки и доктора тутъ.

— Ахъ, нянюшка, милая, да что же это такое,—всхлипывая проговорила Саша, хватая няньку за руку, — помретъ вѣдь, пожалуй, она...

Нянька сквозь слезы засмѣялась.

— Да что ты, дура, развѣ отъ этого помираютъ? Родитъ и вся болѣзнь пройдетъ...

— Ой...о...о...—раздавался высокій, торопливый, жалобный голосъ изъ спальни,—ой...о...о...и...и...

— Замужъ выходить—не пѣсни пѣть,—сказала нянька,—а ты думала что?

— Ахъ, нянюшка милая, да что жъ это, право, такое,—повторяла растерянная Саша, въ первый разъ въ жизни узнавшая, что такое роды, и закаявшаяся теперь когда-либо выходить замужъ.

Роженица начинала терять терпѣніе и спокойствіе; съ каждымъ приступомъ страданій она надѣялась, что это были послѣднія, но каждый разъ она ошибалась и нужно было ждать и терпѣть еще и еще.

Силы между тѣмъ понемножку оставляли ее. Подходила полночь и ночное непривычное настроеніе и время еще больше волновали и возбуждали ее.

Докторъ продолжалъ говорить, что дѣло шло вполнѣ благополучно, и упрямымъ однообразнымъ тономъ просилъ роженицу отдыхать и быть покойной.

— Нельзя такъ нервничать, лежите смирно, потерпите еще,— говорилъ онъ своимъ грубымъ басомъ, — нельзя такъ малодушничать.

Слова и тонъ доктора каждый разъ вмѣсто того, чтобы успокоить роженицу, только еще хуже раздражали ее.

Но еще больше возненавидѣла она акушерку.

Когда ей попадалось на глаза холодное, блѣдное лицо Софьи Ивановны съ безучастнымъ, недобрымъ, какъ ей казалось, взглядомъ, страданія ея казались ей во сто разъ невыносимѣе. Впрочемъ, все и всѣ были ей противны и несносны теперь. Одинъ человѣкъ только былъ пріятенъ ей за все время родовъ—это былъ мужъ. Онъ одинъ какъ будто понималъ ее, какъ слѣдовало, одинъ чувствовалъ ея страданія и одинъ только дѣйствительно утѣшалъ и успокаивалъ ее.

Но силъ у нея становилось все меньше и меньше, и чувство отчаянія и безпомощности начинало овладѣвать ею, несмотря на то, что она всячески старалась не поддаваться ему. Когда подступали теперь боли, она приходила въ такое состояніе, что ничего и никого не видала и не слыхала, кромѣ своего страшнаго ощущенія; и она настолько потеряла самообладаніе, что ей казалось, что боли ее мучили теперь сплошныя и уже больше не было промежутковъ облегченія и возможнаго отдыха между ними, хотя промежутки эти, на самомъ дѣлѣ, были. Она металась, отчаянно кричала и визжала и, наконецъ, хрипѣла отъ безсилія, злобы и страданій.

Роды были трудные.

— Ради Бога, ради Бога, — говорила она торопливо и задыхаясь, — ради Бога сдѣлайте мнѣ что-нибудь... я не могу больше...

Панютинъ нагибался надъ нею и еще утѣшалъ ее, какъ умѣлъ.

Но она и его перестала слушать и слышать.

— Нужно терпѣніе, — холодно говорила акушерка, — такъ нельзя же.

— Развѣ можно этакъ волноваться, этакъ малодушничать,— качая головой, говорилъ докторъ своимъ непріятнымъ голосомъ.

— Не могу я больше терпѣть, понимаете, не могу больше,—нараспѣвъ жалобнымъ голосомъ кричала роженица,—ну, дайте мнѣ хоть каплю, хоть каплю чего-нибудь.

Но никто не обращалъ вниманія на ея просьбы, и докторъ и акушерка также холодно и безстрастно продолжали успокаивать ее. Они точно не вѣрили ей: такъ спокойно и безучастно принимали они ея жалобы, точно были убѣждены, что она притворяется. Такъ прошелъ часъ, потомъ два, три, четыре часа и больше.

VI.

Минутами роженица такъ страдала, что Панютину казалось, что дѣйствительно необходимо помочь ей, что-нибудь сдѣлать съ ней, иначе она не вынесетъ и умретъ. Но видъ доктора и акушерки, а, главное, его матери, успокаивалъ его. Они принимали все, точно такъ и нужно было, точно совершалось что-то хотя и важное, но обыкновенное и знакомое имъ. Для него же роды, на которыхъ онъ присутствовалъ въ первый разъ въ жизни, были чѣмъ-то совсѣмъ необыкновеннымъ, незнакомымъ и ужаснымъ. Онъ никогда не воображалъ себѣ, чтобы люди такъ страдали. А страдала такъ его бѣдная, ни въ чемъ неповинная жена, и безъ того проболѣвшая всѣ послѣдніе девять мѣсяцевъ беременности. Что-то недоброе, несправедливое было во всемъ этомъ.

Было уже далеко за полночь, когда роженица какъ будто потеряла послѣднее терпѣніе и надежду когда-либо освободиться отъ того, что такъ немилосердно ее мучило. Послѣ одного изъ

отдыховъ, который былъ продолжительнѣе предыдущихъ, и при приближеніи новыхъ болей, она вдругъ вышла изъ себя и пришла въ какое-то дикое бѣшенство.

Свѣтлые волосы ея растрепались, глаза засверкали и, приподнимаясь на постели и сжимая по-женски свои блѣдные кулаки, она завизжала дикимъ, отчаяннымъ голосомъ:

— Понимаете! Тамъ что-нибудь не такъ, не такъ! Не идетъ. А вы сидите и не помогаете мнѣ. Убирайтесь отсюда! Вонъ! Вонъ! Я не даромъ прошу. Я не вынесу. Я умру.

И, всхлипнувъ на всю комнату, обезсиленная, она грузно повалилась на подушку и захныкала и захрипѣла.

— Хоть каплю,—умоляющимъ голосомъ произнесла она.

Тогда старый генералъ, уже давно сидѣвшій теперь въ спальнѣ и безпокойно вертѣвшійся на диванчикѣ, вдругъ вскочилъ на свои тонкія ноги и, какъ-то шатаясь и то выпячивая, то вбирая грудь, подошелъ къ доктору.

— Послушайте, — заговорилъ онъ сдавленнымъ, прерывающимся шопотомъ,—это без...о...бразіе. Это преступленіе—заставлять ее такъ мучиться... Дѣло медицины—облегчать страданія, а вы только...

Генералъ не зналъ, что сказать дальше, и, блѣдный, съ трясущейся слабой губой, за которой виднѣлся черный одинокій зубъ, подавился и замолчалъ. Докторъ поднялъ на него удивленное лицо и наморщилъ толстую кожу на лбу.

Всѣ въ комнатѣ молчали. Одна роженица продолжала безпомощно стонать, жаловаться и просить дать ей чего-нибудь, могущаго утолить ея боли. Очевидно было, что она не слыхала того, что происходило около нея.

— То-есть, вы разумѣете, ваше превосходительство?—щуря глаза и неизвѣстно почему, вдругъ называя генерала превосходительствомъ, спросилъ докторъ.

— Я разумѣю, что вы приглашены за тѣмъ, чтобы помогать больной и не сидѣть около нея сложа руки... Я не могу

слышать... ея криковъ... страданія... Надо облегчать, помогать, а не смотрѣть... Я не знаю, но думаю...

— Такъ-съ,—произнесъ докторъ значительно и, повернувъ голову въ сторону роженицы, онъ задумался. И по лицу и глазамъ его Панютинъ видѣлъ, что онъ былъ взбѣшенъ. Еще гуще покраснѣли его уши и щеки и еще чаще замигали глаза. Толстыя, красныя губы его зло и чуть замѣтно улыбались. Генералъ прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ, нервно вскидывая головой, и вышелъ вонъ, хлопнувъ дверью.

— Тамъ что-нибудь не такъ, — продолжала жалобно ныть роженица,—все остановилось... Ой... о... охъ... опять, опять... хоть каплю.

И снова она заметалась и принялась дико визжать до тѣхъ поръ, пока хватило у нея силъ и голоса.

Къ счастію, докторъ сдержался и не послушалъ генерала.

Одну минуту онъ совсѣмъ былъ готовъ вскочить на ноги и дать роженицѣ хлороформа. Но потомъ онъ раздумалъ и рѣшилъ еще ждать. Онъ только посмотрѣлъ на Панютина и, глядя въ сторону двери, куда вышелъ генералъ, закачалъ головой.

«И смѣетъ вмѣшиваться генералишка не въ свои дѣла... нервы слабы,—думалъ онъ про себя,—ишь...» И докторъ мысленно обругался.

Черезъ нѣсколько минутъ генералъ опять блѣдный вошелъ въ комнату и сѣлъ на диванчикъ.

Роды продолжались съ тѣми же болями, крикомъ и визгомъ и короткими отдыхами между ними.

Генералъ просидѣлъ нѣсколько минутъ, послушалъ, потомъ махнулъ рукой и опять вышелъ. Послѣ этого онъ уже долго не входилъ въ спальню.

Прошло еще нѣсколько тяжелыхъ, страшныхъ часовъ. Панютинъ, чтобы отдохнуть минуту, отошелъ отъ жены и подошелъ къ окну.

Наступало утро и за аллеями парка, гдѣ всходило солнце, уже горѣла ярко-красная огненная полоса. На стеклѣ окна розовѣлъ ея слабый отблескъ.

Уже громко пѣли пѣтухи на деревнѣ и на дворнѣ. Скоро сутки, какъ она мучилась, а все еще не было видно конца этимъ мученіямъ. Панютинъ уже нѣсколько разъ вспоминалъ о хлороформѣ и думалъ, что не лучше ли было бы дать его, что не правъ ли былъ генералъ.

Но было рѣшено еще до родовъ, что постараются обойтись безъ всякихъ усыпляющихъ средствъ. Докторъ и акушерка и всѣ остальные знали это.

Между тѣмъ дѣло шло такъ медленно и боли были настолько сильны, что мысль объ облегченіи ихъ все чаще и чаще напрашивалась всѣмъ.

И вотъ послѣ одного изъ рѣзкихъ приступовъ, послѣ того, какъ роженица, опять обезсиленная послѣ крика и визга, стала глухо хрипѣть, умоляя въ то же время помочь ей, докторъ не выдержалъ и сдался на ея просьбу, тѣмъ болѣе, что роды, какъ ему казалось, съ нѣкотораго времени не подвигались больше впередъ, а остановились и даже пошли назадъ.

Одно время ему казалось, что вотъ уже совсѣмъ недалеко былъ конецъ, что еще два-три приступа болей, еще нѣсколько усилій—и ребенокъ родится; но у роженицы все не хватало нужной энергіи и ребенка все не было.

Тогда докторъ, сжавъ губы, такъ что щеки его надулись и поднялись до самыхъ глазъ, принявъ еще болѣе сосредоточенное и серьезное, а потому мрачное и суровое выраженіе, быстро всталъ со своего стула и своими тяжелыми шагами подошелъ къ окну, гдѣ лежала привезенная имъ его дорожная сумка.

— Ради Бога не давайте,—сказала ему Прасковья Михайловна, подскочивъ къ нему сзади и сейчасъ же понявъ, въ чемъ дѣло,—вы погубите ее...

Глаза доктора забѣгали и, повернувъ голову къ Прасковьѣ Михайловнѣ, онъ сказалъ ей грубо и рѣшительно:

— Это дѣло мое-съ. Прошу васъ оставить меня въ покоѣ-съ! Я знаю, что дѣлаю.

И онъ, отвернувшись къ окну, принялся вынимать изъ своей сумки какіе-то пузырьки, инструменты и стклянки. Прасковья Михайловна не смѣла говорить больше. Она нервно и крѣпко стала жать пальцы своей лѣвой руки правою рукой и, не отходя отъ доктора, стояла, точно ждала чего.

— По крайней мѣрѣ, самую крошечную дозу, — несмѣло проговорила она наконецъ, тяжело вздохнувъ; — неужели вы потеряли терпѣніе?.. Вѣдь еще и сутокъ нѣтъ. Ничего особенно плохого не случилось. Зачѣмъ же? Генералъ васъ разстроилъ... Но вѣдь это его дочь, это такъ понятно, что ему тяжело выносить.

— Генералъ тутъ не при чемъ-съ,—сказалъ обиженно докторъ.

И онъ, какъ упрямая лошадь, закусилъ удила и, ни о чемъ не думая, никого не слушая и не видя, дѣлалъ свое дѣло.

По той манерѣ, какой онъ теперь дѣйствовалъ, видно было, что онъ не допускаетъ и не допуститъ больше никакого вмѣшательства въ свои поступки и что онъ твердо рѣшился на что-то.

Панютинъ, увидавъ, что собирался сдѣлать докторъ, теперь тоже не на шутку испугался. Онъ подскочилъ къ нему и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— А нельзя безъ этого обойтись, докторъ? Пожалуйста, если можно.

Докторъ не сразу отвѣтилъ ему.

— Видите-ли,—проговорилъ онъ, подумавъ,—можно-то все можно, да зачѣмъ же? Больно ужъ мучается. Надо дать маленько, легче пойдетъ.

И онъ, захвативъ въ руки цѣлую кучу вещей, подошелъ съ ними къ кровати.

— Лучше не давайте, если не необходимо, подождите еще,— нервно повторилъ Панютинъ и въ то же время рѣшилъ про себя, что съ этой минуты онъ больше ни во что не будетъ вмѣшиваться.

«Неужели маленькая доза можетъ повредить? — подумалъ онъ, утѣшая себя.—Она только успокоитъ ее, бѣдную, немножко облегчитъ».

Но въ душѣ онъ боялся хлороформа и инстинктивно чувствовалъ, что чѣмъ меньше помогать во время родовъ и мудрить съ ними, чѣмъ больше предоставлять ихъ природѣ, тѣмъ будутъ они безопаснѣе.

Докторъ между тѣмъ, попросивъ у акушерки чистое полотенце, сталъ повязывать имъ глаза роженицы, чтобы при хлороформированіи не попортить ихъ.

Въ это время боли какъ будто утихли немного.

— А ничего это? Я не умру?—спросила озабоченно роженица слабымъ, хныкающимъ голосомъ.

— Отъ чего это? — спросилъ докторъ, — отъ хлороформа-то?

И онъ внимательно сталъ разглядывать маску, затянутую фланелью, которую вертѣлъ въ рукѣ, точно онъ еще колебался. Прошла минута, и опять подступили страшныя боли; роженица заметалась, закричала и захрипѣла такимъ густымъ дрожавшимъ хрипомъ, точно она рычала отъ злости.

— Невозможно,—произнесла она, постепенно успокаиваясь и вся обливаясь потомъ,—охъ, что это такое, что это такое! Никогда не кончится... Дайте же скорѣе, скорѣе, я не могу больше...

Тогда докторъ быстрымъ и мягкимъ движеніемъ положилъ ей маску на лицо и, придерживая ее правой красной и засученной рукой, въ другую руку взялъ синюю стклянку съ носикомъ и отдѣленіями.

— Пульсъ, — скомандовалъ онъ акушеркѣ, которая, какъ

солдатъ, привыкшая къ повиновенію, сейчасъ же продвинулась впередъ къ изголовью кровати и взяла въ руку кисть лѣвой руки роженицы.

— Ну-съ,—сказалъ докторъ,—закройте ротъ, дышите только носомъ. Понимаете? Вотъ такъ... Можно бы считать, да все равно, и такъ сдѣлаемъ.

И, говоря это, онъ сталъ лить изъ носика стклянки на фланелевую покрышку маски хлороформъ.

— А это не опасно? Ничего?—хныкая и стоная, спрашивала роженица.

VII.

Извольте-ка вотъ языкодержатель,—еще добавилъ докторъ, протягивая акушеркѣ одинъ изъ своихъ странныхъ инструментовъ,—держите наготовѣ, въ случаѣ чего...

— Закройте ротъ, вздохните глубже, вотъ такъ, еще разъ,—скомандовалъ онъ громко и рѣшительно.

— Слышите? Ясно слышите?—спросилъ онъ черезъ минуту.

Роженица застонала сдавленнымъ груднымъ стономъ и отвѣтила голосомъ, шедшимъ точно изъ-подъ земли:

— Слышу...

— Слышите?—немного погодя, еще спросилъ докторъ.

— Слышу...

И вдругъ все тѣло ея пришло въ страшное волненіе и она стала бить руками и ногами, вертѣть головой и плечами, точно всѣмъ существомъ своимъ противясь дѣйствію того яда, который начиналъ душить ее.

Она стала усиленно глотать воздухъ, хвататься за него руками, и это страшное глотаніе перешло вдругъ въ хрипѣніе, еще болѣе сдавленные звуки, точно она удавилась.

— Слышите?—еще спросилъ докторъ тѣмъ же повелитель-

нымъ и важнымъ голосомъ, рукой приподнимая голову роженицы.

Глотанье ея прекратилось, ей точно стало легче на секунду и она отвѣтила, съ трудомъ выговаривая слово, и опять точно откуда-то далеко:

— Слы...шу.

Еще черезъ минуту она совсѣмъ затихла, и руки и ноги ея перестали метаться.

Тогда докторъ приподнялъ ея руку и опять опустилъ. Рука, какъ каменная, упала на матрацъ ладонью кверху.

— Какъ пульсъ?—обратился докторъ къ акушеркѣ.

— Порядочный.

— Слышите?—еще разъ спросилъ у роженицы докторъ,— слышите? нѣтъ?

Но она уже не отвѣтила больше, и, вмѣсто отвѣта, страшный, скрипучій, точно передвигали тяжелый шкапъ, звукъ, жесткій и деревянный, раздался въ спальнѣ.

Сначала никто не понялъ, откуда онъ, но Панютинъ, стоявшій ближе другихъ къ ея изголовью, слышалъ и видѣлъ, что этотъ звукъ издала его жена, широко и безобразно открывъ и снова закрывъ ротъ. И вслѣдъ за этимъ она снова громко захрипѣла. Но это не была та прежняя ея хрипота, въ которой чувствовались какая-то гибкость и жизнь, когда она послѣ крика и визга обезсиленная хрипло дышала. Теперь звуки, шедшіе изъ ея груди, были жесткіе и зловѣщіе, какъ тотъ первый неожиданный и деревянный звукъ.

Всѣмъ стало жутко.

И когда наступила эта тишина во всемъ домѣ, среди которой слышалось только это страшное хрипѣніе вмѣсто прежняго здороваго, молодого, рыдавшаго, жаловавшагося на страданія, но живого голоса, всѣ поняли, что произошло что-то неестественное и ужасное.

У Панютина похолодѣли руки и кровь отлила куда-то отъ

лица и головы. Онъ смотрѣлъ на это изуродованное и закрытое повязкой и маской лицо жены, слушалъ ея хрипѣніе, и сердце его надрывалось. Онъ не зналъ, что дѣлать. Не зналъ, нужно ли ему освобождать ее отъ тѣхъ ужасовъ, которымъ подвергали ее, или, наоборотъ, считать эти ужасы необходимыми и поэтому допускать ихъ; не зналъ, бѣжать ли ему отсюда, оставаться ли, рыдать или сердиться. Онъ мучился, какъ никогда въ жизни.

Хлороформированіе продолжалось всего нѣсколько минутъ, а Панютину казалось, что уже давнымъ-давно онъ присутствовалъ при какомъ-то страшномъ, нелѣпомъ преступленіи.

— Не довольно ли хлороформа? Она уже хрипитъ,—нѣсколько разъ обращался онъ въ волненіи къ доктору.

Но, точно нарочно, докторъ не отвѣчалъ ему, не обращая на него никакого вниманія.

Наконецъ онъ пересталъ лить хлороформъ на маску, а потомъ снялъ ее съ лица роженицы.

Ея поблѣднѣвшіе губы, носъ и нижняя часть щекъ и скулъ были видны теперь изъ-подъ повязки на глазахъ. Передніе крупные зубы все такъ же некрасиво торчали подъ верхнею губой.

Акушерка, не отпуская пульса, въ то же время слѣдила за родами, постоянно перегибаясь впередъ и прищуривая глаза.

— Что?—спросилъ у нея докторъ.

— Значительно подвинулось,—отвѣтила она успокоительно, и этотъ отвѣтъ на минуту ободрилъ Панютина.

Потомъ докторъ, нагнувшись надъ кроватью, долго разглядывалъ что-то, и шея его подъ курчавыми волосами стала совсѣмъ багровой отъ прилива крови.

Генералъ съ генеральшей шептались на диванчикѣ. У генеральши глаза еще больше покраснѣли и слезы бороздками смыли пудру съ ея лица. Прасковья Михайловна стояла строгая и блѣдная среди комнаты, ждала и молчала.

Зловѣщая хрипота то усиливалась, то ослабѣвала, а потомъ совсѣмъ перестала.

Ребенка все еще не было.

Потомъ съ роженицей сдѣлалось что-то. Ее повернули на бокъ и ее тошнило. Но докторъ продолжалъ находить, что все это было въ порядкѣ вещей, и ничѣмъ не смущался. Потомъ акушерка держала роженицу за языкъ и тащила его тѣмъ самымъ инструментомъ, который передалъ ей докторъ. Рука роженицы лежала на матрацѣ все также ладонью кверху, бѣлая, точно гипсовая. А потомъ произошло что-то въ комнатѣ необыкновенное, неожиданное и радостное, точно все вдругъ озарилось солнцемъ и тепломъ.

Но это было всего только на одну или двѣ секунды.

Панютинъ нагнулся впередъ, чтобы лучше видѣть, и отшатнулся назадъ, точно его ударили по головѣ. И снова стало темно и холодно кругомъ, какъ въ могилѣ. И тотъ на мгновеніе мелькнувшій лучъ, точно по ошибкѣ заглянувшій сюда, опять исчезъ куда-то.

Родился ребенокъ. Родился мальчикъ, его сынъ,—тотъ самый, о которомъ онъ зналъ и мечталъ. Прасковья Михайловна первая вслухъ радостно проговорила: «мальчикъ!» Докторъ силой вытащилъ его на свѣтъ Божій, подцѣпивъ пальцами подъ мышки. Акушерка, чтобы вычистить ротъ ребенка, стала сейчасъ же ковырять въ немъ пальцемъ. И это странное крошечное существо лежало на матрацѣ. Но существо это не закричало, не зашевелилось. Его отдѣлили отъ матери, акушерка подняла его на руку и мягкое красное тѣльце перегнулось ей черезъ руку, точно переломленное пополамъ. Темная, уже поросшая тонкими, короткими и рѣдкими волосами, головка безжизненно свисла. Необыкновенная суета поднялась въ комнатѣ, какъ на пожарѣ. Чтобы заставить ребенка дышать, акушерка прежде всего нѣсколько разъ сильнымъ отрывистымъ движеніемъ правой руки ударила его по задку. Но отъ этого

безжизненно свисшая головка только мотнулась впередъ и назадъ, какъ голова куклы, и опять упала. Потомъ быстрыми шагами акушерка отошла въ другой уголъ комнаты, гдѣ на двухъ табуреткахъ стояла уже приготовленная съ водой маленькая жестяная ванна.

Прасковья Михайловна и генеральша шли совсѣмъ близко за акушеркой, шептали что-то, ахали и спрашивали, нѣтъ ли еще надежды. Панютинъ шелъ за ними. Софья Ивановна была слишкомъ озабочена, чтобы отвѣчать имъ. Тѣми же своими торопливыми и мягкими движеніями она положила ребенка въ ванну и, держа его одной рукой, другой стала наливать въ воду кипятка изъ жестяного, стоявшаго тутъ же на табуреткахъ, большого эмалированнаго чайника.

— Подержите,—нервно обратилась она къ Прасковьѣ Михайловнѣ,—еще холодной воды прикажите...

Потомъ она стала поднимать ручки ребенка, стала лить ему холодной воды на голову и грудку и еще что-то дѣлать съ нимъ.

Но все было напрасно.

Ребенокъ родился мертвый.

Панютинъ стоялъ надъ нимъ и смотрѣлъ на его покраснѣвшее отъ воды тѣльце, на почернѣвшую головку, и мучительное чувство стыда, обиды и горя защемило ему душу. Что-то жестокое, несправедливое, злое сдѣлали надъ нимъ, что-то такое, что никогда и ничѣмъ уже нельзя будетъ исправить.

VIII.

Докторъ оставался тамъ у кровати, подлѣ роженицы. Нѣсколько разъ онъ громко, не боясь, что роженица услышитъ его, говорилъ акушеркѣ, что надо дѣлать, когда она держала въ ваннѣ ребенка.

— Нѣтъ, Василій Ивановичъ,—отвѣтила Софья Ивановна,—ничего не поможетъ,—ни пульса, ни дыханія.

— Эѳира возьмите тамъ у меня въ сумкѣ, — сказалъ докторъ дрогнувшимъ голосомъ.

Акушерка стала исполнять приказаніе.

Между тѣмъ роженица, все это время лежавшая почти безъ движенія и только глухо хрипѣвшая, зашевелилась и точно стала приходить въ себя. Сперва она приподняла руку и откинула ее, потомъ стала торопливо бормотать что-то однѣми губами. Сначала она говорила что-то несвязное, такъ что едва можно было разбирать отдѣльныя слова, потомъ звуки стали яснѣе и голосъ чище, точно онъ приближался откуда-то. Это длилось нѣсколько минутъ. Полотенце все еще было повязано на ея глазахъ и докторъ нарочно не снималъ его.

Роженица продолжала бормотать что-то торопливо и въ страшномъ волненіи. Въ тонѣ ея было что-то такое трогательное и жалкое, что невозможно было равнодушно слушать ее. Точно вся душа ея испуганно дрожала отъ чего-то еще не сознаннаго, но радостнаго. И это радостное въ ней становилось все сознательнѣе, все живѣе.

— Что? Родился? Да? Я чувствую, я знаю,—наконецъ выговорила она возбужденно,—правда? Да? Скажите...

— Будьте спокойны и лежите смирно,—приказалъ ей докторъ, тоже необычно возбужденный.

Движеніе и взгляды и фраза его сдѣлались быстрыми и развязными. Онъ то нагибался надъ кроватью, то внимательно ощупывалъ тѣло роженицы, все время держа ея пульсъ, то оглядывался въ сторону акушерки, и глаза его теперь такъ часто моргали, точно въ нихъ попало что-нибудь.

— Ахъ, Боже мой,—теперь яснѣе залепетала роженица,— Господи, что со мной? Скажите же, мальчикъ, да? Хорошій, большой? Простите меня, я гадкая, капризная всегда была и теперь; но я не забуду, не забуду васъ никого, потому что мнѣ такъ хорошо, такъ прекрасно... Володя, Володя, гдѣ ты? Ты съ нимъ? Ахъ, неужели? — и вдругъ что-то похожее на

улыбку озарило ея блѣдное лицо и губы. — Мамочка, милая, ты здѣсь? А я-то не воображала всего этого...

— Старайтесь успокоиться, главное—лежите смирно, не двигайтесь,—хмуря толстую кожу на лбу, сказалъ докторъ:—роды еще не окончены...

— А я-то не знала всего этого,—слабымъ голосомъ повторила роженица съ чувствомъ сожалѣнія,—не знала, не знала...

И еще нѣсколько разъ она повторяла послѣднія слова все тише и тише и, наконецъ, замолчала, точно забылась.

Ея состояніе испугало доктора. Онъ все внимательнѣе прислушивался къ ея пульсу и усиленно моргалъ. Двѣ непріятныя рѣзкія складки легли по двумъ сторонамъ его некрасиваго большого рта.

— Что такое? Что съ ней? — громкимъ шопотомъ вскрикнулъ Панютинъ, подбѣгая къ кровати и чувствуя, что все летитъ куда-то изъ-подъ его ногъ.

Роженица лежала теперь совершенно спокойно и только грудь ея тихо поднималась. Блѣдныя губы ея точно еще силились сказать что-то и слабо шевелились. Громадная лужа темно-красной крови залила простыни постели.

Докторъ рѣзкимъ движеніемъ сорвалъ полотенце съ глазъ роженицы; они были закрыты, и красивыя, длинныя рѣсницы темнѣли надъ ввалившимися безцвѣтными щеками. Панютинъ схватилъ бѣлую, какъ мраморъ, руку жены и вздрогнулъ отъ прикосновенія къ ней. Что-то холодное, неживое и чуждое было въ ней теперь. Но онъ все-таки поднесъ эту дорогую ему руку къ губамъ. Онъ сталъ смотрѣть въ закрытые глаза жены, стараясь увидать въ нихъ прежнюю жизнь, и сталъ внимательно слушать ея дыханіе. Она дышала, но все слабѣе и рѣже. Онъ нагнулся къ ней и страстнымъ шопотомъ нѣсколько разъ окликнулъ ее по имени.

Тогда рѣсницы ея поднялись и на секунду опять все лицо ея, а для Панютина весь міръ, озарилось жизнью. Она хотѣла сказать что-то, но не смогла; въ послѣдній разъ шевельнула губами, и опять вѣки ея упали и глаза закрылись.

Между тѣмъ докторъ съ подбѣжавшей къ нему акушеркой еще усерднѣе, торопливѣе и испуганнѣе, сталъ дѣлать что-то надъ роженицей.

Въ нѣсколько минутъ она могла умереть теперь, коли не удастся остановить во́-время кровотеченіе. Красивое, крупное тѣло ея, измученное несчастными родами, какъ разбитый сосудъ, изъ котораго полилось вино, дѣлалось все прозрачнѣе и бѣлѣе на глазахъ у всѣхъ. Докторъ употребилъ всѣ существующія средства, чтобы остановить кровотеченіе. Все время, до самаго конца, это казалось ему возможнымъ. Но онъ ошибся. Ничего не помогло: ни эѳиръ, ни холодная вода, ни искусственное удаленіе послѣда, какъ выражаются медики.

Потомъ, уже совершенно обезумѣвшій отъ неуспѣха, испуга и волненія, докторъ началъ для чего-то давить руками на животъ роженицы, сталъ поднимать ея руки кверху, дѣлая ей что-то въ родѣ искусственнаго дыханія. Эти послѣднія его усилія помочь были чѣмъ-то уже совсѣмъ дикимъ и безобразнымъ. Наконецъ, онъ все бросилъ и, отодвинувшись отъ кровати, махнулъ по воздуху обѣими своими громадными, красными, засученными до плечъ руками. Онъ былъ теперь безъ сюртука, въ одномъ жилетѣ. Видъ его былъ страшенъ.

— Нѣтъ,—промычалъ онъ безнадежнымъ тономъ,—ничего не беретъ! Чортъ его знаетъ, что такое!

И, еще бормоча себѣ что-то подъ носъ невнятное, онъ нахмурился и выпрямилъ спину движеніемъ, точно она заболѣла у него. Акушерка держала пульсъ роженицы, внимательно прислушиваясь къ нему и перехватывая его пальцами, но его уже не было слышно.

По другую сторону кровати стояли Панютинъ, рядомъ съ нимъ Прасковья Михайловна, за ними генеральша и генералъ, и всѣ они смотрѣли на доктора, какъ бы еще ожидая отъ него чего-то. Никто не смѣлъ ни шевельнуться, ни говорить.

Тишина стояла кругомъ.

Грудь роженицы поднялась еще разъ медленно и съ трудомъ и, опустившись до конца, уже не поднималась больше.

Никто еще не вѣрилъ и не хотѣлъ вѣрить въ то, что произошло. Одинъ докторъ зналъ, что случилось, и тяжелыми шагами онъ отошелъ къ окну. Онъ сталъ укладывать назадъ въ свою сумку, отслужившіе ему теперь, инструменты.

— Чортъ его знаетъ, дьяволъ самъ не пойметъ,—продолжалъ онъ ворчать невнятныя, отрывистыя слова и ругательства.

И видно было, какъ рука его тряслась и вещи, которыя онъ укладывалъ, не попадали въ сумку. Панютинъ стоялъ и пристально, упорно смотрѣлъ на жену.

Она лежала теперь совершенно неподвижно, съ откинутой и свернутой на бокъ головой, съ полуоткрытымъ ртомъ, съ двумя крупными своими зубами, торчавшими изъ-подъ верхней оттопыренной губы.

Глаза были закрыты и только узкія полоски бѣлковъ были видны подъ опущенными длинными рѣсницами. Выраженіе лица было строгое, спокойное.

Прасковья Михайловна пододвинулась ближе къ кровати и поправила голову покойницы обѣими руками. Потомъ она взяла одну ея руку и положила сверхъ одѣяла. Рука была тяжелая, твердая, съ согнутыми пальцами. На четвертомъ пальцѣ было надѣто обручальное кольцо, которое молодая Панютина изъ предразсудка никогда не снимала.

Громкое всхлипываніе раздалось въ комнатѣ. Панютинъ оглянулся. Это зарыдала генеральша. Она грузно опустилась на стулъ подлѣ кровати и, туго держа скомканный платокъ около глазъ, тряслась и дергалась всѣмъ своимъ жирнымъ тѣломъ. Генералъ тоже вынулъ платокъ изъ задняго кармана сюртука, сморкнулся въ него и пошелъ изъ комнаты короткими шажками.

IX.

Панютинъ все стоялъ и не могъ и не смѣлъ шевельнуться и не могъ оторвать глазъ отъ тѣла, лежащаго передъ нимъ,— тѣла его жены. И странное чувство, тяжелое, какъ камень, и жгучее, какъ раскаленное желѣзо, росло въ немъ и мучительно заполняло душу. Что это было за чувство? Его трудно опредѣлить. Сознаніе того, что передъ этой тайной смерти вся жизнь не имѣетъ ни смысла, ни значенія, сознаніе своей безпомощности и безсилія передъ ней, сознаніе виновности передъ чѣмъ-то, раскаяніе, одиночество и, главное, какое-то недоумѣніе передъ совершившимся—все это вмѣстѣ поднялось въ немъ. Попрежнему молчали кругомъ и тишина стояла въ комнатѣ и въ домѣ. Только докторъ гремѣлъ своими инструментами и за окномъ совсѣмъ близко вдругъ громко и протяжно пропѣлъ пѣтухъ. Прасковья Михайловна подняла другую руку умершей и наложила ее на первую.

— Кто могъ ожидать? Такъ скоро? — неожиданно сказала она плачущимъ, несвойственнымъ ей полушопотомъ, обернувшись къ сыну. И глаза ихъ встрѣтились на секунду. Лицо Прасковьи Михайловны, блѣдное и строгое, показалось Панютину такимъ непріятнымъ, пошлымъ и мірскимъ, что онъ отвернулся отъ него. Никогда лицо матери не производило на него такого впечатлѣнія. Но слова и взглядъ ея, полный состраданія, еще больнѣе обожгли ему сердце. Онъ оглянулся на нее, потомъ, слѣдуя за ея взглядомъ, оглянулся на крошечный, всѣми забытый трупъ своего ребенка, одиноко лежавшій на диванчикѣ и завернутый въ пеленки, и ему стало чего-то такъ страшно, до того жутко на душѣ, что онъ чуть не вскрикнулъ отъ внутренней боли. Онъ закрылъ глаза руками, потомъ открылъ ихъ опять и снова уставился на неподвижное, невозмутимое лицо жены, точно ему это нужно было, точно это могло ему помочь.

Потомъ, не зная зачѣмъ, онъ тихонько прикоснулся пальцемъ къ ея рукѣ.

Прасковья Михайловна отошла отъ кровати, сѣла на диванчикъ подлѣ ребенка и стала смотрѣть на него. Панютинъ оглянулся на мать и вдругъ ему показалось, что это не мать его, а жена. Все вдругъ смѣшалось въ его головѣ, спуталось, и онъ не понималъ хорошенько ни гдѣ онъ, ни зачѣмъ, ни кто люди, окружавшіе его. Онъ подумалъ, что сходитъ съ ума. Онъ сѣлъ на стулъ, потомъ опять вскочилъ съ него на ноги и, дико оглядываясь по сторонамъ, рѣшительными, быстрыми шагами вышелъ изъ комнаты. Онъ вышелъ въ столовую, потомъ въ переднюю, изъ передней сбѣжалъ въ пустынный садъ и, повернувъ налѣво мимо ледника, пошелъ прямо черезъ канаву по тропинкѣ въ лѣсъ.

Онъ скорѣе бѣжалъ, чѣмъ шелъ; бѣжалъ, не зная куда и зачѣмъ, чувствуя потребность идти впередъ, двигаться, что было въ немъ силъ. Онъ хватался рукой за лобъ, какъ будто во лбу заключалось теперь то, что его мучило, и, спотыкаясь, бѣжалъ, точно въ этомъ бѣгствѣ было его спасеніе. Садъ, усадьба, огородъ, лѣсъ, за лѣсомъ поля и деревня—все было на мѣстѣ, все было по-старому кругомъ него. Вотъ яблочный шалашъ, раскрытый и заброшенный; вотъ клубника, которую сажали нынѣшнею весной, и «она» была тутъ, когда сажали эту клубнику; вотъ смородина, крыжовникъ, малина, всѣ тѣ мѣста, гдѣ онъ такъ часто бывалъ съ «ней» и прошлою осенью и нынѣшнею весной; вотъ грядки спаржи, которой «она» такъ интересовалась. Все это существовало, жило, какъ всегда. Но какъ возможно это? Какъ возможно, что все это было цѣло, разъ ея нѣтъ, разъ для него все кончено и отнято у него то, что одно давало всему этому смыслъ?

Нѣсколько поденныхъ дѣвокъ встрѣтились Панютину подлѣ лѣса. Онѣ шли, весело разговаривая и не замѣчая его. Потомъ онѣ увидали его, затихли и кивками головъ поклонились

ему, удивленно косясь въ его сторону. Никогда онѣ не видали барина такъ рано и въ такомъ мѣстѣ, бѣгущаго куда-то безъ шляпы на головѣ. Онѣ стали шептаться о чемъ-то между собой.

«Хозяйство, садъ, поденныя? — между тѣмъ мысленно повторялъ Панютинъ,—интересы имѣнія? Гдѣ все это? Гдѣ я?

«А добрая жизнь? Отдача земли мужикамъ? Служеніе имъ?» пришли ему въ голову мысли вслѣдъ за первыми, по давно привычной ассоціаціи.

Послѣдняя мысль—самоотверженное безкорыстное служеніе народу—была одной изъ лучшихъ, самой задушевной мечтой его жизни, за которую онъ хватался и прежде не разъ въ періоды недовольства и унынія. Но, къ удивленію своему, онъ почувствовалъ, что эта мысль, казавшаяся ему раньше неисполнимой только по причинѣ его новаго семейнаго положенія, теперь не имѣла для него ни малѣйшаго интереса и значенія, даже совсѣмъ не существовала для него, какъ не существовали большіе интересы хозяйства, сада или чего-либо другого.

«Что жъ осталось мнѣ? — спросилъ онъ себя, — что осталось, чѣмъ можно жить?»

И онъ чувствовалъ, что ничего, ровно ничего не осталось, что пустота наполняла еще душу, безутѣшная и бездонная.

«Жена и будущій ребенокъ... Семья, — вотъ чѣмъ можно было жить, вотъ что давало силы, смыслъ жизни, радость и счастіе. И это отнято».

И ярко, точно онъ видѣлъ ее передъ глазами, Панютину представилась та мрачная комната, гдѣ «она» лежала. Тамъ лампы до сихъ поръ горѣли на столахъ двумя тусклыми, жуткими пятнами,—ихъ забыли потушить. Эти лампы почему-то особенно тревожили Панютина.

Онъ запыхался отъ бѣга и пошелъ шагомъ. Потомъ опять онъ побѣжалъ, хватаясь за лобъ и повторяя безсвязныя, странныя слова: «хозяйство, имѣніе, добрая жизнь. Гдѣ? Зачѣмъ?»

Онъ подбѣжалъ къ канавѣ, окружавшей лѣсъ, и, перепрыгнувъ черезъ нее, бросился въ чащу мелкаго березника и осинника. Раздвигая вѣтки руками, царапая себѣ лицо, пальцы, онъ бѣжалъ впередъ.

Но вотъ онъ выбѣжалъ на большую поляну и круто остановился, точно наткнулся на стѣну. Передъ нимъ за черными стволами вѣковыхъ корявыхъ дубовъ, за чащей мелкаго лѣса, свѣтило что-то громадное, красное пылающимъ, огненнымъ заревомъ.

«Что такое?» подумалъ Панютинъ, и дрожь пронизала все его тѣло.

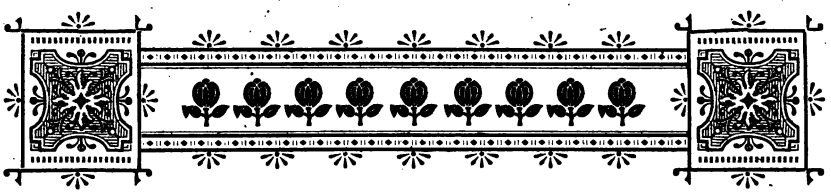
«Утро? Это утро новаго дня? Жизнь? Солнце? — сталъ спрашивать онъ себя въ недоумѣніи и ужасѣ.—Не можетъ быть?..»

Это было слишкомъ жестоко и въ то же время слишкомъ поразительно и величественно.

Несмотря ни на что, несмотря на то, что случилось,— опять солнце. И, ничѣмъ не нарушимая, жуткая тишина стояла кругомъ.

И неожиданно для самого себя, поднявъ руку, Панютинъ сталъ медленно креститься широкими крестами. Нѣсколько лѣтъ, какъ онъ не дѣлалъ этого.

Потомъ, все еще глядя передъ собой, на этотъ красный, громадный огненный шаръ за лѣсомъ, на этотъ вѣчный источникъ жизни и свѣта, сіявшій передъ нимъ, онъ, уже не отдавая себѣ яснаго отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, бросился на колѣни и, постоявъ такъ, упалъ ничкомъ на мокрую и блестѣвшую кругомъ отъ утренней росы траву. Онъ прижался закрытыми глазами къ своей рукѣ ниже локтя, точно желая этимъ спрятаться и не видать и не чувствовать ни себя, ни того, что было передъ нимъ, рядомъ съ тѣмъ, что у него было внутри.



Помѣщикъ.

(РАЗСКАЗЪ).

I.

За послѣднее время дѣла въ домѣ Краевыхъ не ладились.

Во-первыхъ, Анна Сергѣевна стала по утрамъ опять чувствовать тошноту; во-вторыхъ, поваръ Илья запилъ съ самаго Рождества и, казалось, хотѣлъ протянуть праздники до самой масленицы. Его обѣды съ каждымъ днемъ становились все хуже и хуже. Вмѣсто супа онъ подавалъ помои, вмѣсто котлетъ—какія-то подошвы, а вмѣсто оладей—сплошные черные уголья. Въ-третьихъ, началъ болѣть и жаловаться на животикъ маленькій, еще грудной ребенокъ Краевыхъ, до этого никогда не болѣвшій.

Анна Сергѣевна была втройнѣ въ отчаяніи. Николай Ивановичъ, конечно, былъ тоже въ самомъ плохомъ расположеніи духа, съ одной стороны, разстроенный непріятностями домашними, съ другой—еще своимъ сельскимъ хозяйствомъ, которое не только тянуло его за сердце, но и за карманъ.

Было утро. Николай Ивановичъ одинъ напился чаю въ столовой и, держа въ одной рукѣ папироску, а въ другой свѣжій номеръ «Новаго Времени», только-что собирался войти въ свой кабинетъ, чтобы запереться тамъ для утреннихъ занятій. Въ это время Анна Сергѣевна съ шумомъ взбѣжала наверхъ

съ задней лѣстницы и, увидавъ мужа, задыхающимся голосомъ заговорила уже издали. Николай Ивановичъ по лицу жены, да и по всей ея фигурѣ догадался, въ чемъ было дѣло.

«Надо прогнать негодяя,—рѣшилъ онъ про себя сердито,— а то это дѣйствительно становится чѣмъ-то невозможнымъ!»

— Съ утра и уже пьянъ мертвецки, это ужасно,—начала Анна Сергѣевна;—ты какъ хочешь, а я больше не могу, не могу выносить такой жизни, у меня и безъ того заботъ и хлопотъ много, я и безъ того совсѣмъ больна.

Она сѣла въ кресло около стола, и голосъ у нея оборвался. Черезъ секунду она опять заговорила. Она нервно и подробно стала жаловаться на то, что мужъ ей не помогаетъ, что она одна всюду, что въ деревнѣ она жить больше не можетъ, что она не мученица какая-нибудь, чтобы самой все дѣлать, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Николай Ивановичъ, остановившись въ дверяхъ кабинета, покорно и мрачно слушалъ жену; онъ зналъ, что ей надо дать высказаться, «выжаловаться», какъ онъ мысленно выражался. Въ такихъ случаяхъ не было другого спасенія. Когда Анна Сергѣевна немного успокоилась, онъ тихо проговорилъ:

— Не волнуйся, пожалуйста, все это пройдетъ. Дѣйствительно непріятно, но что же дѣлать? Я завтра ѣду въ городъ и поищу новаго повара...

— Какого-нибудь еще лучше... я знаю, что такое новый поваръ,—какого-нибудь вора или гадкаго больного, или опять пьяницу,—плаксиво и быстро сказала Анна Сергѣевна, поднимая кверху тонкія брови и некрасиво поджимая блѣдныя губы.

— Тогда какъ же быть?—спросилъ Николай Ивановичъ.— Стало быть, оставить Илью?

— Я не знаю, ничего не знаю,—возбужденно проговорила Анна Сергѣевна,—я не хочу жить, я буду ѣсть черный хлѣбъ съ солью, больше мнѣ ничего не нужно, а тамъ Богъ съ вами со всѣми...

— Да не волнуйся же такъ изъ-за пустяковъ. Я поговорю еще съ Ильей, а если онъ не опомнится, ну, перемѣнимъ его и больше ничего,—еще разъ сталъ успокаивать жену Николай Ивановичъ, старательно удерживая хладнокровіе. Онъ тяжело перевелъ дыханіе.

Анна Сергѣевна теперь молчала, нервно стуча тонкими бѣлыми пальцами по ручкѣ кресла.

— А ты какъ сегодня себя чувствовала при вставаніи?— спросилъ Николай Ивановичъ, взглянувъ на нездоровые черные круги подъ глазами жены и, къ удовольствію своему, видя, что она стала потише.

— Что жъ тутъ спрашивать, — ворчливо отвѣчала Анна Сергѣевна.—Что же я могу чувствовать хорошаго? Конечно, опять... Я говорила тебѣ... А главное—молоко пропадаетъ, и бѣдный Сашенька съ каждымъ днемъ все блѣднѣетъ и больше пищитъ.

— Можетъ быть, такъ что-нибудь,—успокоительно замѣтилъ Николай Ивановичъ.

— Такъ что-нибудь,—передразнила его Анна Сергѣевна насмѣшливо.—Если ты завтра будешь въ городѣ,—добавила она рѣшительно и язвительно,—изволь заѣхать къ доктору и привезти его сюда или спроси, что дѣлать. Я никогда не бывала въ такомъ положеніи и совсѣмъ не знаю, чѣмъ и какъ прикармливать ребенка, или просто бросить его и взять кормилицу? И все это изъ-за твоихъ славныхъ привычекъ, изъ-за необходимости ихъ удовл.....

— Перестань, какъ тебѣ не стыдно,—перебилъ ее Николай Ивановичъ съ мольбой въ голосѣ.

— Какъ *тебѣ* не стыдно, а не мнѣ, — подхватила Анна Сергѣевна,—это не только гадость, но и *грѣхъ*, грѣхъ, понимаешь ты, — выстрѣлила она, сверкнувъ глазами и вскочивъ съ кресла.

Она не на шутку негодовала, такъ что у Николая Ивановича что-то непріятное защемило на сердцѣ.

— И, пожалуйста, денегъ завтра привези изъ банка, мнѣ нечѣмъ людямъ платить и надо дровъ купить, — рѣзко сказала Анна Сергѣевна, еще разъ злобно взглянувъ на мужа.— Я не привыкла къ такому нищенству. Понимаешь?

И она быстро пошла изъ комнаты, некрасиво размахивая руками.

II.

Николай Ивановичъ остался одинъ. Онъ вошелъ, наконецъ, въ свой кабинетъ и сѣлъ въ кресло у печки.

«О, Господи,— вздохнулъ онъ глубоко,—о, Господи, Господи, Господи, Господи! Вотъ она жизнь когда начинается, настоящая спокойная, счастливая деревенская!»

И онъ невольно улыбнулся на то, какою онъ мечталъ устроить свою жизнь въ деревнѣ два года тому назадъ и какою она сложилась теперь. Въ душѣ ему стало и больно, и обидно.

«Что же ему дѣлать? Какъ быть теперь съ пьянымъ поваромъ, съ беременной женой, съ тѣмъ, что у нея молоко пропадаетъ и маленькій жалуется, съ тѣмъ, что денегъ нѣтъ и надо опять брать послѣднія изъ банка? Какъ быть? Вотъ онъ только-что думалъ заняться какъ слѣдуетъ, составить смѣту приходовъ и расходовъ на новый, уже наступившій новый годъ, провѣрить старые счеты по имѣнію — теперь дѣловое настроеніе его было сразу испорчено. Да зачѣмъ и какія, въ сущности, смѣты онъ будетъ составлять? Все ясно и безъ нихъ. Ясно, что если у него не окажется руды въ имѣніи и она не пойдетъ въ ходъ, надо будетъ окончательно положить зубы на полку. Одна надежда осталась на эту руду дуру, какъ говорятъ мужики».

Недавно по сосѣдству съ Николаемъ Ивановичемъ открылся чугунно-литейный заводъ, съ возникновеніемъ котораго вся округа помѣшалась на желѣзной горячкѣ. И помѣщики, и му-

жики, и мелкіе собственники—всѣ стали проводить на своихъ земляхъ такъ называемыя дудки, т.-е. глубокія круглыя отверстія или ямы, разыскивая руду. Николай Ивановичъ, конечно, тоже заразился общимъ теченіемъ. Да и какъ было не заразиться ему?

Кабы нашлась хорошая залежь желѣзняка въ Трущевѣ, Николай Ивановичъ не такъ бы повелъ свое хозяйство!

Ухъ, какъ онъ развернулся бы, какъ показалъ бы господамъ сосѣдямъ, какъ нужно хозяйничать. Онъ наставилъ бы хозяйственныхъ построекъ по послѣднему слову агрономіи, онъ завелъ бы лучшую скотину, выписавъ ее изъ-за границы, повелъ бы образцовое молочное хозяйство; онъ нанялъ бы хорошаго, дорогого садовника, развелъ бы свою собственную школу и доходный питомникъ; мало ли бы онъ еще чего не натворилъ! Развѣ безъ денегъ можно хозяйничать, т.-е. хозяйничать такъ, чтобы были доходъ и удовольствіе?

Но Николаю Ивановичу съ рудой не счастливилось. Онъ рылъ дудку за дудкой, но все безуспѣшно. Въ одной вода, въ другой песокъ мѣшали работать, въ третьей хотя и оказывалась руда, да плохая, малопроцентная. Николай Ивановичъ уже затратилъ много денегъ на изысканія, а руды все не находилъ. Но онъ не унывалъ и рѣшилъ, что если уже тратиться, то на такое дѣло, какъ дудки. Потому что если будетъ въ нихъ удача, то онѣ не только вернутъ назадъ затраченное, но и вознаградятъ за себя хорошо хозяина.

«Однако, что же обо всемъ этомъ думать?—съ досадой на себя пробормоталъ Николай Ивановичъ, поймавъ себя на безплодныхъ и все однѣхъ и тѣхъ же мысляхъ.—Если да если, а если никакой удачи на дудки не будетъ, и въ Трущевѣ никакой руды вовсе нѣтъ... тогда что? Да, тогда что? Служить? Писать какую-нибудь глупую повѣсть или просто проживать послѣдній капиталъ, не заботясь о будущемъ? Пожалуй, послѣднее все-таки самое благоразумное».

Николай Ивановичъ вспомнилъ еще, что онъ занимается статьей по крестьянскому вопросу, интересующему его.

Но какой же можетъ быть доходъ отъ этой статьи? Конечно, никакого.

Оказывается, что его жизнь совсѣмъ неожиданно подошла къ той точкѣ, когда на первомъ мѣстѣ, загораживая всему дорогу, затемняя все, стоитъ пресловутый вопросъ о boire, manger. Раньше, когда онъ былъ холостъ и жилъ въ домѣ бабушки, онъ не нуждался тогда и не думалъ о деньгахъ. Теперь другое. Теперь, какъ онъ ни вертись, вопросъ о насущной копейкѣ всюду и всегда будетъ преслѣдовать его. Николай Ивановичъ даже поморщился, сдѣлавъ кислую гримасу: такъ ему показалась непріятна послѣдняя мысль. Но мысль эта была, къ сожалѣнію, такой несомнѣнной, горькой истиной.

«Да, руда—или проживать капиталъ,—храбро рѣшилъ Николай Ивановичъ, желая подбодриться духомъ и хотя на чемъ-нибудь остановиться; по крайней мѣрѣ, для него другой дилеммы нѣтъ.—Что жъ, чтобы пятнадцать тысячъ еще прожить, все-таки нужно немного времени, хотя...»

Онъ махнулъ рукой по воздуху и сталъ развертывать «Новое Время», которое внимательно еще не просмотрѣлъ. Первое, что бросилось ему въ глаза, это была статья о дворянахъ. Только-что прошли выборы въ разныхъ губернскихъ городахъ, и теперь еще и еще писали о нихъ.

«И о чемъ тутъ писать?—желчно подумалъ Николай Ивановичъ.—«Жесперъ ке ву ме донре!» Кажется, въ одномъ только этомъ осталось спасеніе для господъ дворянъ. Одно спасеніе—льготы, да ссуды, да потачки разныя. Развѣ это неправда?

«Хотя они не робѣютъ. Они обѣдаютъ, славные и благородные дворяне, пируютъ на послѣдніе гроши съ заложенныхъ имѣній, наряженные въ отцовскіе, проѣденные молью, мундиры, они поднимаютъ бокалы въ честь и процвѣтаніе россійскаго дворянскаго сословія!..»

Такъ подтруниваетъ надъ современными дворянами старый дядюшка Николая Ивановича, о которомъ онъ всегда вспоминалъ въ подобныхъ случаяхъ. И сколько горькой правды, горькой насмѣшки въ этихъ словахъ,—насмѣшки стараго дворянина надъ оскудѣніемъ своего же сословія! Дядюшка всегда говорилъ при этомъ, что ужъ лучше сидѣть дома по своимъ конурамъ, не ѣздить на выборы и не срамиться!

«А вотъ Анна Сергѣевна все хочетъ, чтобы я служилъ,—перешелъ къ мысли о себѣ Николай Ивановичъ,—чтобы я хоть общался съ людьми, если не служилъ. Общался съ людьми! Съ какими это? Къ чему? Входить во всѣ эти сплетни, дрязги, подвохи, во всю эту недостойную борьбу неинтересныхъ людей изъ-за личныхъ, въ большинствѣ случаевъ, интересовъ? Пить шампанское въ губернскихъ гостиницахъ и давать ихъ содержателямъ наживаться, когда своимъ рабочимъ платить нечего!? Ха! Вотъ дурака нашли!»

Николай Ивановичъ вслухъ засмѣялся. Потомъ онъ отложилъ газету въ сторону, не найдя въ ней ничего для себя новаго, и, откинувшись на спинку кресла, совсѣмъ отдался своимъ размышленіямъ.

III.

«Нѣтъ, нѣтъ,—говорилъ онъ самому себѣ убѣжденно и горячо,—я просто не могу, не въ состояніи играть всю эту комедію. Просто глупости не хватаетъ. Ну, да пробовалъ же, посмотрѣлъ, потолкался среди этихъ людей,—познакомился. Нѣтъ, спасибо, спасибо!..»

И ему живо вспомнилось, какъ, когда онъ пріѣхалъ сюда въ деревню, онъ прежде всего отправился въ свой уѣздный мѣстный городъ, чтобы познакомиться съ земствомъ, черезъ которое онъ мечталъ служить и быть полезнымъ народу. Не имѣя точнаго понятія о томъ, что такое земство, онъ надѣ-

ялся встрѣтить въ немъ хоть давно организованное, дружное, живое дѣло, по крайней мѣрѣ, несомнѣнно нужное и полезное. Но какъ жестоко онъ ошибся, какъ разочаровался! Вмѣсто дѣла, какимъ онъ представлялъ его, онъ нашелъ совсѣмъ, совсѣмъ другое. Что особенно поразило его—это была стѣсненность и нищета земства, изъ которыхъ не было никакого выхода. При этихъ двухъ условіяхъ, казалось, никакое его движеніе было немыслимо. И къ чему собственно сводились обязанности того земства, которое увидалъ Николай Ивановичъ? Къ сбору и недобиранію повинностей съ разоренныхъ помѣщиковъ и нищихъ мужиковъ, къ распредѣленію этихъ повинностей на нужды ихъ плательщиковъ. Но неужели же въ какой-нибудь управѣ могли лучше знать, что нужно мужику, чѣмъ знаетъ это самъ мужикъ или его общество? На этотъ вопросъ Николай Ивановичъ всегда отвѣчалъ отрицательно. Онъ зналъ, что сытая деревня всегда сама позаботится о своей школѣ, часто сама содержитъ учителя и дѣлаетъ это гораздо дешевле и лучше какого-нибудь посторонняго лица или учрежденія. Поэтому въ разсужденіяхъ Николая Ивановича по этому вопросу все сводилось къ тому, что прежде всего нужно позаботиться о матеріальной пищѣ народа, а потомъ уже нужно думать о духовной.

«А для этого нужно не въ земствѣ служить, — разсуждалъ Николай Ивановичъ,— а въ чемъ-то совсѣмъ, совсѣмъ другомъ».

А какихъ людей Николай Ивановичъ встрѣтилъ въ своемъ земствѣ? Правда, очень добрыхъ и благодушныхъ, очень толстыхъ и самодовольныхъ, но какихъ чуждыхъ ему и далекихъ по взглядамъ.

Тоскливо и горько стало у него на душѣ отъ чувства одиночества среди этихъ широкихъ полей и бѣдныхъ селъ, когда онъ возвращался домой 40 верстъ на лошадяхъ изъ своего уѣзднаго города съ тѣмъ, чтобы уже никогда больше не соваться туда.

«Пусть себѣ уже одни тамъ хозяйничаютъ,—думалъ онъ съ какою-то безнадежною грустью на сердцѣ,—пусть одни занимаются своими важными дѣлами и рѣшеніями, откуда и съ кого можно взять двугривенный и куда его затратить. Мнѣ тамъ съ ними дѣлать нечего».

Съ этого дня Николай Ивановичъ зарекся никогда больше не думать о земской службѣ. Зато онъ взялся еще горячѣй за свое хозяйство. Онъ купилъ пару кровныхъ поросятъ, улучшилъ помѣщенія рабочихъ и скотины, купилъ пару плуговъ и заводскаго бычка и сталъ продавать молоко въ городъ вмѣсто масла.

Такъ прошелъ годъ. Когда въ концѣ его Николай Ивановичъ подвелъ итоги своего хозяйничанья въ имѣніи, онъ и тутъ потерпѣлъ большое разочарованіе. Онъ ужаснулся, видя громадныя цифры расхода, ушедшаго на его собственную жизнь и семью. Содержаніе дома, прислуги, конюшни, поглощеніе всякаго рода провизіи—все это равнялось суммѣ въ полтора раза большей дохода съ имѣнія. Николай Ивановичъ былъ пораженъ.

«Да, держать шесть лошадей на конюшнѣ только для ѣзды и собственнаго удовольствія, восемь собакъ, кучера и конюха, выписывать «Новое Время» (17 рублей—цѣлая корова, богатство мужика), покупать всякія закуски, жечь десять лампъ въ домѣ—да развѣ при всемъ этомъ можетъ быть рѣчь о доходѣ, о хозяйствѣ, о возможности дворянамъ уцѣлѣть?!»

Николаю Ивановичу много очень простого, но мало кѣмъ замѣчаемаго открылось послѣ этого перваго года деревенской жизни. И когда онъ вспомнилъ, какъ онъ ѣхалъ сюда еще съ цѣлью исправить свои имущественныя дѣла при помощи разумнаго хозяйничанья, опять ему стало смѣшно и горько.

«Нѣтъ, видно намъ, господамъ, дѣтьми пріученнымъ къ роскоши, къ ничѣмъ не стѣсненной жизни, не легко поправлять наши дѣла! Чтобы поправить ихъ, нужно прежде поправить

себя; нужно искоренить въ насъ все то, что съ молокомъ матери всосалось въ нашу плоть и кровь; до корня передѣлать себя, перевернуть всю нашу жизнь. А развѣ это легко? У кого хватитъ силъ отвыкнуть отъ всего того, къ чему вѣками пріучали насъ наши отцы и дѣды, чтобы пріучиться къ воздержанію, къ скромности и труду? Ухъ, сколько на это надо времени, усилій и жертвъ!

«Да, дѣла плохи,—подумалъ Николай Ивановичъ,—очень плохи. Все это хорошо разсуждать, а завтра надо опять доставать денегъ для Анны Сергѣевны.

«Руда, руда, одна надежда на руду,—еще разъ вспомнилъ онъ;—коли не она, такъ что же? Намъ, дворянамъ, не миновать записываться въ промышленники, въ дѣльцы всякаго рода, въ торгаши! Вотъ Пучковъ каждый годъ продаетъ руды тысячи на три! Что жъ, и прекрасно! Положимъ, рудокопомъ я самъ бы быть не желалъ, но вѣдь они же добровольно лѣзутъ туда?»

Еще разъ попавъ на мысль о рудѣ, Николай Ивановичъ почувствовалъ въ тѣлѣ какое-то безпокойство и такое желаніе двигаться, что онъ всталъ съ кресла и заходилъ взадъ и впередъ по кабинету. Но въ небольшой комнатѣ было тѣсно его громадному тѣлу, и онъ, взглянувъ на ружье, висѣвшее на оленьихъ рогахъ, подумалъ, что было бы недурно поохотиться съ гончими, такъ какъ утро кстати вышло хорошее, не очень морозное и тихое.

«Что же это? Прямо съ утра и охотиться! Развѣ это не стыдно?» упрекнулъ его внутренній голосъ.

«А что же дѣлать?—спросилъ его другой голосъ, болѣе развязный и смѣлый.—Писать корреспонденцію въ газеты о томъ, какъ славно жить въ деревнѣ? О томъ, какъ притѣсняютъ и обманываютъ мужиковъ на заводѣ, какъ берутъ взятки на станціяхъ желѣзной дороги, какъ торгуютъ водкой въ шинкахъ у насъ на деревнѣ, какъ за подати сажаютъ мужиковъ

въ волость и вмѣстѣ съ тѣмъ требуютъ отъ нихъ денегъ? Проѣхать на руду, т.-е. на дудки? Но я уже надоѣлъ тамъ рабочимъ, бываю каждый день. И притомъ приказчику велѣно побывать нынче съ утра. Нѣтъ, иду на охоту, надо же разогнать всѣ эти заботы, эту скуку и подлое настроеніе духа!..»

Николай Ивановичъ взялъ ружье съ роговъ и патронташъ и вышелъ въ переднюю. Онъ одѣлся и благополучно, не встрѣтивъ на лѣстницѣ жены, очутился на крыльцѣ своего дома.

Славный, уже чуть дышавшій весной, январскій воздухъ обдалъ его. Солнце, большое и яркое, свѣтило справа. Молодое, радостное чувство на минуту шевельнулось въ сердцѣ Николая Ивановича. Но только-что онъ бодро зашагалъ черезъ садъ по направленію къ конюшнѣ, гдѣ помѣщались его собаки, рѣшивъ, что надо помнить, что все къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, онъ услыхалъ за собой чьи-то торопливые шаги, скрипѣвшіе по твердо накатанной зимней дорогѣ. Онъ обернулся.

IV.

Какой-то рваный, уже пожилой мужичокъ въ чуняхъ и кафтанишкѣ, на ходу снимая громадными руками шапку съ лохматой головы, торопливо догонялъ его. Николай Ивановичъ сразу почувствовалъ, что съ этимъ человѣкомъ къ нему приближается какая-нибудь непріятность. Онъ остановился, дожидаясь. Мужичокъ подошелъ ближе и, часто кланяясь, заговорилъ хныкающимъ, взволнованнымъ голосомъ:

— Не оставьте, ваше высокородіе... заступитесь Христа ради... прикажите ему, ваше высокородіе... за что же онъ это?

— Что такое? Что тебѣ надо?—досадливо спросилъ Николай Ивановичъ, ничего не понимая.

— Да какъ же, ваше высокородіе! За что же онъ дерется-

то, ваше высокородіе? У кого хотите спросите, тамъ и Миколка Зябревъ былъ, и Антоха...

— Кто дерется? Чего тебѣ надо? Говори яснѣе,—еще разъ перебилъ его Николай Ивановичъ.

— Да вашъ управляющій. Я кучу, стало быть, не ту поднялъ, а онъ меня вдарилъ вотъ сюда, вотъ въ это самое мѣсто (мужикъ указалъ себѣ на затылокъ), сейчасъ тронуть нельзя; заступитесь, не прикажите ему по-своему этакъ рукодѣльничать; развѣ я виноватъ, коли ошибся? Это вѣдь неблагородно.

— Больше ничего тебѣ не нужно?—оборвалъ его съ сердцемъ Николай Ивановичъ, чувствуя, что въ груди у него вдругъ закипѣло.

— И денегъ не платитъ: я вотъ три дудки прошелъ у вашей милости, а онъ: подожди да подожди, да ступай къ чорту изъ конторы. Прикажите, ваше высокородіе, вѣдь деньги-то мои, трудовыя!

Николай Ивановичъ круто отвернулся отъ мужика и быстро энергичными шагами пошелъ по направленію къ своей конторѣ.

— Смѣетъ драться, дуракъ,—говорилъ онъ про себя, сердито хмурясь.—Сказалъ ему съ перваго же дня поступленія ко мнѣ, что если вы, молъ, когда-нибудь будете драться, я васъ не могу держать... И вотъ, вотъ что приходится слушать!.. Это у меня-то въ имѣніи?

Подходя къ избѣ на краю двора, гдѣ помѣщалась контора, Николай Ивановичъ съ трудомъ сдерживалъ свое волненіе. Мужичокъ издали шелъ за нимъ. Приказчикъ, въ окно увидавъ барина, подходившаго къ конторѣ съ ружьемъ за плечами, обрадовался, вѣроятно думая, что его сейчасъ пригласятъ на охоту, и съ улыбающимся краснымъ лицомъ выскочилъ навстрѣчу Николаю Ивановичу. Но вдругъ выраженіе всей его фигуры круто перемѣнилось.

— Что это за безобразіе?—глухо заговорилъ Николай Ива-

новичъ.—Вы начинаете драться съ мужиками? Вы забываете мое условіе? Извольте разсказать, какъ было дѣло.

Первую минуту приказчикъ оробѣлъ, не зная, что начать; но потомъ, проглотивъ слюни, онъ сказалъ:

— Да я не знаю-съ, я не дрался...

— Какъ? А что же онъ разсказываетъ?

Николай Ивановичъ указалъ на мужика, который теперь ближе подошелъ къ конторѣ.

— А что же онъ мошенничаетъ, мерзавецъ,—неожиданно перемѣнившись въ лицѣ и съ грубой нотой въ голосѣ проговорилъ приказчикъ:—я дрова нарочно по справедливости раздѣлилъ, а онъ самую большую кучу себѣ поднимаетъ. Съ ними всякое терпѣніе потеряешь, да и лжетъ къ тому же, негодяй. Досада взяла, я его и толконулъ маленько. Только я не дрался, вотъ хоть у нашего Ивана спросите.

— Можно обходиться и безъ этого,—строго замѣтилъ Николай Ивановичъ.—Онъ еще проситъ денегъ,—продолжалъ онъ, указывая глазами на мужика,—говоритъ, что вы ему не платите за дудки.

— Откуда же я возьму? Вѣдь денегъ-то нѣтъ въ конторѣ... не онъ одинъ ходитъ просить, тутъ вся деревня.

Приказчикъ при этихъ словахъ принялъ невинный, покорный судьбѣ видъ и, опустивъ глаза книзу, замолчалъ. Николай Ивановичъ тоже не зналъ, что говорить послѣ этого.

— Что же, ваше высокородіе, денегъ-то мнѣ не пожалуете?—въ это время осмѣлился напомнить о себѣ мужикъ.

— Приходи въ воскресенье,—сказалъ ему Николай Ивановичъ,—сейчасъ нѣтъ у насъ.

Мужикъ сталъ чесаться, сдвинувъ на ухо свою шапку.

— Ну, а руда что?—не утерпѣлъ, чтобы не спросить, Николай Ивановичъ.—Были?

— Былъ. Вода опять. Вотъ, пропасть ее возьми,—развязно отвѣчалъ приказчикъ,—совсѣмъ было, думалъ, прошла и пекля

красная, нѣтъ же тебѣ! А у насъ, Николай Ивановичъ, нынче еще несчастье случилось,—добавилъ онъ, дѣлая искусственно огорченный и смущенный видъ.

— Что такое?

— Да три березки срѣзали въ посадкѣ, около Туркинаго верха, подлецы, и березки-то хорошія, вершка въ три будутъ. Послалъ за урядникомъ, хочу обыскъ сдѣлать, слѣдъ есть изъ лѣса, а дальше ужъ не разберешь... вотъ мошенники-то озорничаютъ.

У Николая Ивановича сердце упало. «На бѣднаго Макара всѣ шишки валятся», подумалъ онъ, какъ водой облитый.

Еще этого недоставало для завершенія всѣхъ пріятностей!..

Лѣсная порубка была особенно пріятна ему. Онъ видѣлъ въ ней со стороны крестьянъ грубое неуваженіе къ собственности и его личности, безсовѣстное нахальство и безобразный способъ наживы. Онъ держалъ всего одного только лѣсного сторожа и всегда разсуждалъ въ душѣ такъ, что не сторожъ можетъ укараулить лѣсъ, а сама совѣсть крестьянъ. Если они будутъ уважать помѣщика, если онъ будетъ справедливъ и простъ съ ними, мужики никогда не будутъ воровать и грубо безчинствовать въ его имѣніи.

И вотъ результаты его гуманнаго отношенія. Неужели же и ему придется прибѣгнуть къ суду! Нѣтъ, въ этомъ по крайней мѣрѣ онъ до конца останется вѣренъ себѣ.

— Не нужно дѣлать обыски,—сказалъ Николай Ивановичъ, болѣзненно морща лобъ,—оставьте ихъ, я не думаю, чтобы это былъ нашъ народъ... кто-нибудь изъ другихъ деревень.

— Кто ихъ знаетъ,—подхватилъ приказчикъ,—они всѣ подъ одно коварство подходятъ: что наши, что всѣ остальныя присмыкающія села.

Николай Ивановичъ, мрачно опустивъ голову, пошелъ прочь отъ конторы.

— Такъ обыска не нужно,—повторилъ онъ еще разъ, обернувшись.

— Слушаю-съ,—отозвался приказчикъ.

— И драться не нужно,—добавилъ Николай Ивановичъ.

Приказчикъ на это смолчалъ.

— Ваше высокородіе, такъ мнѣ денегъ-то не будетъ, стало быть?—все еще почесываясь и не снимая больше шапки съ головы, проговорилъ мужикъ.

— Ты слышишь, въ воскресенье,—съ сердцемъ крикнулъ ему Николай Ивановичъ.

— Что же ты присталъ, какъ сатана?—буркнулъ на него ядовито приказчикъ.—Видишь, и безъ тебя разстройство, уходи отсюда... с... проклятая, нелегкая васъ носитъ!

V.

Николай Ивановичъ направился было къ собакамъ, но, проходя мимо скотной, рѣшилъ зайти туда на минуту.

Онъ почувствовалъ себя въ томъ особенно возбужденномъ сердито-нервномъ настроеніи духа, когда часто лучше всего видишь разныя упущенія, непослушанія и нерадѣніе служащихъ. Онъ пошелъ въ помѣщеніе для скотины. Конечно, съ перваго же шага все здѣсь оказалось не такъ. Половина коровъ была опять спущена на холодный дворъ, вмѣсто того, чтобы стоять въ стойлахъ, потому что такъ легче было скотнику; навозъ не былъ вычищенъ; сѣно валялось все подъ ногами у скотины, такъ что жалко было смотрѣть на него; у телятъ подстилка не смѣнялась уже съ недѣлю.

Скотникъ съ грубымъ ругательствомъ, обращеннымъ къ женѣ, вывалился изъ своей избы, еще не видя стоявшаго въ сторонѣ хозяина.

— Опять коровы спущены,—началъ было Николай Ивановичъ,—смотри, пожалуйста.

Но, увидавъ по мутнымъ, безсмысленнымъ глазамъ Никиты, что тотъ былъ совсѣмъ невмѣняемъ и что говорить съ нимъ безполезно, онъ только махнулъ рукой и поспѣшно вышелъ изъ скотной.

Чувство отвращенія ко всему этому глупому хозяйству, чувство безнадежности, безполезности всякихъ начинаній, всякихъ усилій и безпомощнаго одиночества среди всего этого грубаго народа, всей этой первобытной жизни, поднялось въ немъ.

Въ эту минуту онъ ненавидѣлъ ту Россію, которую всегда такъ горячо защищалъ въ бытность свою за границей,—Россію, которую такъ горячо и искренно любилъ. Онъ презиралъ ее до боли, жалѣлъ до глубины души.

Нѣтъ, не то, не то онъ видѣлъ за границей, не то, не то. Отъ этого сравненія ему дѣлалось даже тошно.

Пьянство, грубость, воровство, неряшество, лѣнь и бѣдность всюду безысходная—и у помѣщика, и у мужика. Все кое-какъ, все изъ-подъ палки, ничего своего самостоятельнаго, честнаго, надежнаго и прочнаго. Зачѣмъ? Къ чему усилія? казалось, стоялъ предъ всѣмъ леденящій жизнь и душу вопросъ. Къ чему? Все развѣется, разлетится прахомъ по вѣтру вонъ изъ-подъ той темной, тяжелой тучи. И какъ нынче, такъ завтра будутъ воровать березки и «рукодѣльничать по-своему», какъ сказалъ мужикъ, и лгать, и также будутъ сорить сѣно въ навозъ, ругаться и пить, пить мертвую.

Николаю Ивановичу стало такъ жутко и тяжело отъ налетѣвшаго на его душу настроенія, что ему даже расхотѣлось охотиться. По двору проходилъ конюхъ, лѣниво и сонно переваливаясь съ ноги на ногу. Съ деревни кто-то кричалъ, точно его рѣзали, а туча все поднималась съ востока, грозная, свинцовая туча, и догнать солнце ей уже оставалось немного. Николаю Ивановичу вдругъ захотѣлось плакать. Ему было жалко самого себя, своей жизни, своей души. Вмѣсто того,

чтобы йтти на охоту, онъ пошелъ домой. Когда онъ проходилъ мимо конторы, приказчикъ опять выскочилъ къ нему навстрѣчу и сталъ въ сѣняхъ. Николай Ивановичъ взглянулъ на его отъѣвшееся, красное, самодовольное и глупое лицо и неожиданно почувствовалъ, какъ что-то грубое и страшное, какъ сама эта жизнь кругомъ, прорвалось въ его груди. Онъ остановился передъ конторой.

— Что же вы стоите? Дѣлать нечего?—спросилъ онъ, сначала еще сдерживая себя.

— Я ничего-съ, я такъ, вышелъ постоять-съ,— проговорилъ приказчикъ.

— Постоять-съ,—передразнилъ его Николай Ивановичъ.— Скотникъ у васъ пьянъ, скотина опять на холодѣ, вмѣсто того, что я приказалъ, сѣно толкутъ въ навозъ. Что же вы дѣлаете, позвольте узнать? Ничего-съ!

— Я только съ руды пріѣхалъ, я березки искалъ,— пробормоталъ растерявшійся отъ неожиданности приказчикъ.

— Березки искалъ! Ты бы караулилъ ихъ получше!—уже переходя на ты, крикнулъ Николай Ивановичъ.—Ты бы меньше спалъ и ѣлъ мою свинину, ты бы смотрѣлъ за порядкомъ и объѣзжалъ лѣсъ...

— Я и такъ цѣлый день, какъ оголтѣлый, бѣгаю,—обидѣлся приказчикъ.

— Вотъ именно, какъ оголтѣлый,— теленокъ,— совсѣмъ уже не сдерживаясь, продолжалъ Николай Ивановичъ.—А ты бы, какъ разумное существо, ходилъ бы, да смотрѣлъ за всѣмъ, да раздумывалъ и мнѣ не грубилъ. Убирайся съ глазъ долой! Вонъ!—заревѣлъ Николай Ивановичъ, затрясясь всѣмъ тѣломъ.

Приказчикъ съежился и, повернувшись, скрылся въ глубинѣ сѣней, поднимая кверху плечи въ своей узкой поддевкѣ чернаго сукна.

— Это ужасно, это невозможно,—повторялъ про себя Ни-

колай Ивановичъ въ отчаяніи, чувствуя, что кровь отлила у него отъ головы и ногъ,—это ужасно, это невозможно!—И онъ поспѣшно зашагалъ къ дому.

Что же будетъ послѣ всего этого? Руды нѣтъ, денегъ нѣтъ, лѣсъ воруютъ, ничего не ладится, отъ всего одно только страданье, страданье, и самъ дѣлаешься звѣремъ и губишь, губишь себя! Что же дѣлать теперь?

И неожиданно новая, блестящая, какъ Николай Ивановичъ самъ подумалъ, мысль, благодатная и счастливая, слетѣла откуда-то ему въ голову. Боже мой, какъ онъ раньше не придумалъ этого?

— Въ Петербургъ!—рѣшилъ Николай Ивановичъ съ такимъ чувствомъ, точно онъ сдѣлалъ замѣчательное открытіе, долженствующее освободить его теперь отъ всѣхъ его непріятностей, волненій и неудачъ.

Продать все и ѣхать въ Петербургъ. Ѣхать на спокойное культурное житье, въ общество интересныхъ, умныхъ людей, въ центръ искусства, литературы и умственной жизни! Да, въ этомъ спасеніе. Тамъ можно писать, служить, участвовать въ какомъ угодно дѣлѣ. Тамъ оцѣнятъ его! Тамъ, по крайней мѣрѣ, можно почувствовать себя человѣкомъ! Можно трудиться, зарабатывать съ достоинствомъ свой хлѣбъ.

И при этой мысли необыкновенная радость хлынула Николаю Ивановичу въ душу. Точно онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ все это длинное время, и вотъ только-что ему обѣщали свободу.

И зачѣмъ онъ мучилъ себя здѣсь, зачѣмъ? Изъ-за чего хлопоталъ? Хозяйничать? Быть полезнымъ народу? Общаться съ нимъ и жить въ деревнѣ изъ принципа, хотя и не служа? Но довольно, довольно этого принципа, этого общенія! «Въ Петербургъ, въ Петербургъ», какъ освобожденный отъ уроковъ школьникъ, повторялъ про себя Николай Ивановичъ.

«Пойду объявлю Анночкѣ! Какъ она будетъ рада!» Онъ чув-

ствовалъ потребность сейчасъ, сію минуту подѣлиться съ ней своими мыслями, вылить передъ ней все свое теперь уже радостное волненіе.

VI.

Николай Ивановичъ поспѣшно вошелъ въ домъ и, поворотивъ налѣво въ коридорчикъ, отворилъ дверь въ дѣтскую, гдѣ предполагалъ, что найдетъ Анну Сергѣевну. Дѣйствительно, она была тутъ, укладывая спать маленькаго.

— Знаешь, Анночка, — началъ Николай Ивановичъ громко и возбужденно, — я придумалъ одну штуку. Я тоже не могу больше...

— Шш-шш, — сердито зашипѣла на него Анна Сергѣевна, — шш, онъ только-что сталъ засыпать.

— Я придумалъ ѣхать отсюда въ Петербургъ, — громкимъ шопотомъ проговорилъ Николай Ивановичъ.

— Какой Петербургъ? Что такое? Тише, пожалуйста! — И Анна Сергѣевна, озабоченно нагнувшись надъ маленькимъ, который жалобно заскрипѣлъ, разбуженный голосами, стала укачивать его, возбужденно напѣвая: «нна, нна, нэ, нэ... нооо-но спиии! спиии... маленькій, миленькій...

Николай Ивановичъ постоялъ съ минуту въ дверяхъ и, видя, что теперь не время разсказывать о своемъ новомъ планѣ, пошелъ къ себѣ въ кабинетъ.

Зато, какъ только Анна Сергѣевна, уложивъ, наконецъ, Сашеньку, явилась наверхъ, онъ позвалъ ее къ себѣ въ кабинетъ и подробно сталъ говорить ей о своемъ удивительномъ новомъ рѣшеніи. Онъ упиралъ главное на то, что въ Петербургѣ онъ будетъ заниматься, работать, что онъ будетъ тамъ покоенъ, а это два главныхъ условія для относительнаго счастія, которыхъ здѣсь въ деревнѣ у него нѣтъ.

Теперь была очередь за Анной Сергѣевной молча выслушать

разгорячившагося мужа. Легкая, чуть замѣтная, но несомнѣнно лукавая улыбка все время поводила кончики ея тонкихъ губъ.

— Открытіе замѣчательное,—наконецъ сказала она усмѣхнувшись, когда Николай Ивановичъ, повидимому, высказался.— И что же, ты думаешь, что въ Петербургѣ будетъ лучше? И ты думаешь, очень пріятно жить въ этомъ болотѣ, гдѣ-нибудь на чердакѣ и еще больше нуждаться и тратиться, чѣмъ здѣсь?—спросила она спокойнымъ, невозмутимымъ тономъ, какой она иногда умѣла брать на себя.

— Конечно, лучше. Почему же чердакъ? Почему нуждаться? Я говорю тебѣ: я буду работать!—обиженно проговорилъ Николай Ивановичъ.

— Работать!—криво улыбнулась Анна Сергѣевна.—Ты будешь работать! Какъ это, позвольте спросить? Головой, какъ толстовскій нѣмецъ? Оставь, послушай, эти глупости. Ну, неудачный день сегодня, все это пройдетъ и будетъ, можетъ быть, не такъ уже тошно. Ты думаешь, я сто разъ не взвѣшивала всѣхъ этихъ плановъ, не сравнивала городскую жизнь со здѣшнею?

Николай Ивановичъ совсѣмъ остолбенѣлъ отъ неожиданности: Анночка, и вдругъ сама говоритъ ему то, что всегда онъ внушалъ ей! Они совершенно помѣнялись съ ней ролями. То онъ утѣшалъ ее, убѣждалъ остаться въ деревнѣ; теперь она. Но онъ утѣшалъ ее такъ неумѣло, несмѣло; она говоритъ такъ авторитетно, такъ несомнѣнно твердо и разумно, что даже возраженій противъ нея какъ будто быть никакихъ не можетъ. Откуда вдругъ взялась такая трезвая практичность, такая разсудительность?

— Нѣтъ, я больше не могу выносить этой жизни, — все-таки попробовалъ настоять на своемъ Николай Ивановичъ,—меня теперь она давитъ, уничтожаетъ! Ты какъ хочешь, а я ѣду въ Петербургъ и завтра же публикую о продажѣ Трущева! Я не могу только мучиться, злиться и ничего не дѣлать!

— Оттого-то и мучаешься и злишься, что ничего не дѣлаешь. Я говорила тебѣ десять разъ, что надо служить! Ты понимаешь ли, что, какъ ты ни жалуйся, ни стремись, я отсюда не двинусь,—спокойно сказала Анна Сергѣевна. — Я не дура, чтобы везти съ нашего чистаго деревенскаго воздуха въ петербургскій туманъ моихъ дѣтей... или пока—моего ребенка. Когда придется ихъ воспитывать, тогда другое дѣло.

— Какъ же это, — невольно вырвалось у Николая Ивановича, — а ты какъ проклинала деревню! Ты такъ рвалась отсюда!

— Мало ли какія бываютъ настроенія,—все такъ же хладнокровно отвѣчала Анна Сергѣевна; — однако, прощай пока, надо побывать въ кухнѣ. Знаешь, Илья наконецъ хочетъ усмириться: клялся нянѣ, что не будетъ пить, и легъ отсыпаться. Дай Богъ!

Анна Сергѣевна вышла изъ комнаты.

— Вотъ тебѣ и Петербургъ,—проговорилъ про себя Николай Ивановичъ, прохаживаясь по кабинету и почесывая затылокъ рукою совершенно такъ, какъ дѣлалъ это только-что мужичокъ, пристававшій къ нему,—вотъ тебѣ и удралъ отсюда!

И онъ почувствовалъ, что всѣ мечты его теперь сразу разлетѣлись прахомъ.

Куда же ему тягаться съ Анной Сергѣевной въ дѣлѣ разрѣшенія вопросовъ житейской мудрости! Конечно, онъ всегда останется позади. Да въ сущности развѣ она не права, не права десять разъ? Разумно ѣхать чортъ знаетъ куда и на какую жизнь изъ привычныхъ, по крайней мѣрѣ, извѣстныхъ условій и обстановки?

А все-таки невыносимы становятся всѣ эти непріятности, это хозяйство, этотъ народъ. Вѣроятно, онъ какъ-нибудь не такъ поступаетъ въ чемъ-нибудь, не такъ живетъ, если ему приходится постоянно безпокоиться и мучиться.—Однако, довольно, довольно думать объ этомъ,—рѣшилъ Николай Ивано-

вичъ, чувствуя, что у него даже затылокъ заболѣлъ отъ несносныхъ, прилипавшихъ къ нему, какъ мухи, мыслей,—вонъ забота, вонъ безпокойство и волненіе!

Онъ сѣлъ къ своему письменному столу, храбро досталъ свою статью по крестьянскому вопросу и, перечтя послѣднюю страницу, стремительно сталъ писать дальше.

До самаго обѣда онъ старательно занимался и достигъ-таки того, что наполовину успокоился и разогналъ скучныя мысли.

Сейчасъ послѣ обѣда, который прошелъ сравнительно благополучно, Николай Ивановичъ, думая о томъ, какъ мало нужно женщинѣ, чтобы утѣшиться (всего только, чтобы пьяный поваръ легъ просыпаться), уже подходитъ къ двери своего кабинета, чтобы на часочекъ отдохнуть,—онъ чувствовалъ большую сонливость,—когда дѣвушка Машура неожиданно догнала его сзади и объявила, что къ нему пришелъ мужикъ, «который березки укралъ».

«Это что же значитъ?—подумалъ Николай Ивановичъ въ непріятномъ недоумѣніи:—какъ же это онъ вдругъ самъ пришелъ?»

Онъ надѣлъ шапку, накинулъ на плечи поддевку и вышелъ на крыльцо, пыхтя папиросой.

VII.

Молодой парень, безъ шапки, рыжій, безусый и рябой, какъ только увидалъ барина, громко вскрикнулъ и, не сгибая спины, упалъ на колѣни, умоляющими, полными слезъ голубыми глазами смотря ему прямо въ лицо.

— Простите! Простите! Христа ради! Не сажайте въ острогъ! Сроду не сидѣлъ!

И парень заревѣлъ перерывающимся, полнымъ раскаянія,

наивнымъ, громкимъ голосомъ. Слезы ручьемъ текли по его нездороваго землистаго цвѣта рябымъ щекамъ изъ мокрыхъ, залѣпленныхъ густой влагой, добрыхъ большихъ глазъ.

— Простите Христа ради! Нужда!—повторялъ онъ, рыдая.

Николай Ивановичъ остановился, пораженный всей этой сценой и чувствуя въ то же время, что онъ самъ сейчасъ готовъ заплакать.

— Какъ же? Кто же тебя открылъ? Ты чей? — спросилъ Николай Ивановичъ смущенно. — Встань, пожалуйста, надѣнь шапку.

— Вашъ управляющій открылъ. Пріѣхалъ сейчасъ съ понятыми. Ну, и нашелъ березки-то, я ихъ въ сѣняхъ склалъ.

— Зачѣмъ же ты воруешь? — спросилъ Николай Ивановичъ. — Лучше бы пришелъ попросилъ. Знаешь, за воровство что бываетъ?

— Да что мы знаемъ, — отчаянно захныкалъ парень. — Нужда, топить нечѣмъ!

«Какъ же управляющій нашелъ, когда я ему велѣлъ не обыскивать?—взволнованно спрашивалъ себя Николай Ивановичъ.—Что все это значитъ? Не понимаю».

И онъ, сказавъ парню, чтобы тотъ слѣдовалъ за нимъ, опять пошелъ въ контору.

— Что же это значитъ?—спросилъ онъ, входя къ приказчику, который, сидя за столомъ, щелкалъ счетами. — Кто открылъ вора?

Приказчикъ вскочилъ навстрѣчу Николаю Ивановичу и, какъ всегда, съ мѣста затараторилъ:

— Вы только ушли въ домъ, ко мнѣ бѣжитъ нашъ Иванъ, говоритъ: открылся виновникъ. Сторожъ нашъ нашелъ слѣдъ до самой деревни, я и поѣхалъ, взялъ понятыхъ, прямо и накрылъ. Вы обыскъ не приказали дѣлать, я и не дѣлалъ, я прямо только открылъ. Такъ онъ березки-то на мелкіе кусочки испилилъ, всю ночь, должно быть, пилилъ; чисто вездѣ

подмелъ, убралъ всѣ слѣдочки. Ну, все-таки хорошо, что нашли,—заключилъ самодовольно приказчикъ.—Все-таки другимъ острастка будетъ. А то сладу просто нѣтъ! Что же прикажете съ нимъ дѣлать?—спросилъ онъ услужливо.

Николай Ивановичъ задумался; чрезъ минуту онъ сказалъ:

— Надо дать ему отработать что-нибудь. Конечно, въ острогъ не надо. Вотъ дайте ему дудки пустыя закопать... Безъ наказанія нельзя оставить и прикажите привезти дрова.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ приказчикъ.

Николай Ивановичъ вышелъ изъ конторы. Рыжій парень, все еще безъ шапки и все еще съ глазами, полными слезъ, стоялъ около сѣней.

— Тебѣ приказчикъ скажетъ, что нужно сдѣлать, — обратился къ нему Николай Ивановичъ, проходя мимо.—Ты отработаешь, дудки намъ засыплешь. А въ острогъ на этотъ разъ сажать тебя не буду.

Парень неожиданно весь просіялъ. Лицо его разгладилось; блѣдныя, сухія губы улыбнулись, и онъ опять упалъ на колѣни.

— Вотъ спасибо, спасибо вамъ, — проговорилъ онъ благодарно и горячо. — Это я съ удовольствіемъ, это я заслужу. Спасибо за милость!

И онъ весь ожилъ, весь просіялъ и преобразился.

Николай Ивановичъ пошелъ отъ конторы внизъ къ пруду. Ему захотѣлось остаться одному съ собой и подумать. Что-то тяжелое давило у него теперь на совѣсти, хотя онъ простилъ парня, хотя обѣщалъ не сажать его въ острогъ.

«Спасибо за милость»,—все вертѣлись въ головѣ Николая Ивановича послѣднія слова парня,—«спасибо за милость!» Да, онъ милостиво поступилъ съ этимъ оборваннымъ, жалкимъ, измученнымъ тѣломъ и душой человѣкомъ! Онъ только заставилъ его закопать три дудки. Это только-то! Этой работы хватитъ ему, по крайней мѣрѣ, на мѣсяцъ. Нелегко зимой киркой

отковыривать замерзшую землю и закидывать ею десятисаженной глубины яму. Но онъ зато освободилъ его отъ позора, не посадилъ его въ тюрьму! Да, онъ милостивый, добрый баринъ!

Николаю Ивановичу стало до того гадко и противно на себя, что въ эту минуту онъ презиралъ себя до глубины души.

А что же ему было дѣлать? Простить? Чтобы завтра вся деревня отправилась въ лѣсъ рубить березки, зная, что баринъ за это прощаетъ? Конечно, онъ не могъ сдѣлать этого.

А какъ все-таки жалокъ показался ему этотъ бѣдный, рябой парень, когда онъ въ первый разъ упалъ предъ нимъ на колѣни.

Николай Ивановичъ подумалъ теперь, что онъ не только пожалѣлъ его въ ту минуту, но полюбилъ всѣмъ своимъ существомъ. Ему тамъ, далеко въ душѣ, вдругъ захотѣлось броситься на шею къ этому рыдавшему, несчастному человѣку, утѣшить его, утереть его слезы!

Вмѣсто того онъ только строго спросилъ его, откуда онъ и кто его открылъ.

Николай Ивановичъ долго ходилъ по своей усадьбѣ взадъ и впередъ, отъ пруда къ скотной и назадъ, и рой нескладныхъ, противорѣчащихъ одна другой, безпокойныхъ мыслей кружился у него въ головѣ.

Да, жизнь его безобразна, безбожна, глупа! Коровенскій парень, срѣзавшій березки, передъ нимъ рыдавшій и мокрыми голубыми и добрыми глазами смотрѣвшій ему прямо въ лицо,— вотъ въ немъ-то, въ немъ и все дѣло! Надо что-то разрѣшить тутъ, что-то неясное, запутанное такъ давно и такъ безнадежно!

«Но что? Что такое? — спрашивалъ себя Николай Ивановичъ.—Чѣмъ же онъ-то виноватъ? Что же ему-то дѣлать?»

VIII.

Николай Ивановичъ уже съ полчаса ходилъ по дорогѣ взадъ и впередъ. Онъ даже усталъ немного и, въ послѣдній разъ повернувъ отъ пруда, онъ направился домой.

Около конторы коровенскаго парня уже не было. Конюхъ Семка только-что привезъ сѣно съ гумна въ конюшню.

— Слушай, Семка! запряги-ка мнѣ поживѣй санки,—приказалъ ему Николай Ивановичъ.

— Сейчасъ,—заторопился Семка,—какою лошадью?

— Сѣрую кобылу хоть...

Лошадь была живо запряжена, и Николай Ивановичъ сѣлъ въ санки. Семка по привычкѣ усѣлся съ нимъ рядомъ. Николай Ивановичъ взялъ самъ вожжи въ руки, и здоровая, но тупая, крупная, сѣрая кобыла какъ перышко стронула съ мѣста санки.

Всю дорогу молчали. Николай Ивановичъ погонялъ лошадь, и все тѣ же неразрѣшенныя мысли вертѣлись у него въ головѣ. Семка, съ громадной шапкой на маленькой головѣ, какъ всегда безгласный въ присутствіи господъ, упорно молчалъ.

Показались Коровенки; они отстояли отъ Трущева верстахъ въ двухъ.

Николай Ивановичъ не зналъ избы рыжаго парня и рѣшилъ спросить о немъ, какъ только въѣдетъ въ деревню.

— Послушай, тетка!—окликнулъ онъ бабу, показавшуюся на крыльцѣ первой справа избы.

— Чего вамъ?—отозвалась баба, державшая чугунъ въ рукѣ.

— Гдѣ тутъ живетъ мужикъ, который нынче ночью березки срѣзалъ?

— А вонъ, вонъ пятый дворъ съ лѣваго бока за колодцемъ.

— Это съ раскрытой крышей?

— Да, она самая.

И баба торопливо ушла въ сѣни.

Николай Ивановичъ подъѣхалъ къ избѣ съ раскрытой наполовину крышей, слѣзъ съ саней и пошелъ къ двери. Его увидали изъ окна, потому что въ избѣ послышался взволнованный сдержанный говоръ и произошло движеніе.

Рыжій парень самъ выскочилъ къ нему навстрѣчу. Онъ имѣлъ растерянный, почти испуганный видъ, но, увидавъ спокойное лицо Николая Ивановича, онъ самъ какъ будто успокоился.

— Я хочу взглянуть, какъ ты живешь,—сказалъ Николай Ивановичъ, входя въ сѣни.—Что это изба-то раскрыта?

— Да корму нѣтъ скотинѣ,—сказалъ парень,—вотъ и раскрыли крышу, что жъ подѣлаешь. Богъ зародитъ, такъ покроемъ.

— Гдѣ жъ у тебя дрова лежатъ?—спросилъ Николай Ивановичъ.

— Да вотъ,—смущенно сказалъ парень, подходя къ чуланчику и отворяя въ него дверь,—сюда поклалъ.

— А скотина есть?—спросилъ еще Николай Ивановичъ.

— Лошаденка есть одна, три овцы. Корову продали осенью за подати.

— А семейство большое твое?

— Шесть душъ.

Николай Ивановичъ отворилъ дверь въ избу и, сильно нагнувшись, вошелъ въ нее. Парень вошелъ за нимъ. Въ избѣ рѣзко пахло кисловатымъ запахомъ стараго хлѣба и грязнаго мужицкаго платья. Направо подъ окномъ, заткнутымъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ тряпкой, сидѣли двѣ бабы: одна—молодая, худощавая, съ вытянутымъ нездоровымъ лицомъ и усталымъ взглядомъ, другая — старушка, маленькая, сгорбленная, вся сморщенная отъ нужды и старости. Молодая баба держала въ рукахъ дѣвочку лѣтъ трехъ, а за спиной у нихъ на лавкѣ

стоялъ мальчикъ постарше. Дѣвочка робко жалась къ матери, пряча лицо за ея плечо.

Мальчикъ съ остановившимся нѣмымъ любопытствомъ уставилъ на вошедшаго барина свои голубые глаза.

— Здравствуйте, — сказалъ Николай Ивановичъ, входя въ избу.—Какое же у тебя семейство?—обернулся онъ къ рыжему парню, стоявшему за нимъ.—Всѣ дома?

— Дома всѣ. Вотъ мать, баба, да ребята; да отецъ вонъ на печкѣ лежитъ, нездоровый...

Старушка въ это время встала съ лавки и стала низко и часто кланяться Николаю Ивановичу.

— Спасибо, батюшка, спасибо, кормилецъ ты нашъ,—стала она ему нараспѣвъ, съ чувствомъ приговаривать,—что сжалился да помилосердствовалъ надъ нами бѣдными. Что подѣлаешь? Попуталъ его нечистый... Сроду въ острогѣ никто не сидѣлъ у насъ! Что подѣлаешь!.. Сусѣдъ накликалъ, а онъ одинъ бы и ни за что не пошелъ. Нужда вѣдь, батюшка, топиться нечѣмъ, семейство большое, и мужикъ-то онъ одинъ въ домѣ. Трудно, батюшка, трудно, милый...

IX.

Пока старуха говорила, Николай Ивановичъ замѣтилъ, что на печкѣ кто-то зашевелился, и вслѣдъ за этимъ старый-престарый старикъ, босой, съ зеленой бородой и такими же волосами, въ бѣлой рубахѣ съ короткими рукавами и разстегнутымъ воротомъ на коричневой сухой груди, сталъ слѣзать оттуда. Кряхтя и поминая Господа Іисуса, старикъ кое-какъ опустился на нары, сталъ на нихъ худыми, слабыми ногами и, еще держась руками за край печки, заговорилъ, откашливаясь и тряся головой:

— Кто это? Приказчикъ барскій? Зачѣмъ? Иль можетъ

баринъ? Что имъ? Поди вонъ до чего, батюшка, дошли: сынъ воромъ сталъ, сынъ воромъ сталъ!

И это послѣднее слово старикъ проговорилъ такъ громко и внятно, что старуха разомъ смолкла, прекративъ свою рѣчь, и въ избѣ сдѣлалось молчаніе. Старикъ обернулъ свое обросшее волосами лицо, съ длинными бровями и подслѣповатыми, часто мигавшими глазами, къ Николаю Ивановичу и продолжалъ все также внятно и такъ искренно и горячо, что нельзя было не слушать его:

— Да вотъ, батюшка,—не знаю, какъ васъ назвать,—восемьдесятъ годовъ прожилъ на свѣтѣ, а этого не видалъ: сынъ воромъ сталъ! Сынъ родной! Я сроду этимъ не занимался. Сроду людей за это срамилъ... и вдругъ сынъ родной! Я больной, лежу все, скоро и помирать стану. Не зналъ ничего,— слышу: народъ! Нашли, молъ, дрова въ чуланѣ! Ахъ, срамъ какой, грѣхъ на старости лѣтъ увидѣлъ я этакій...

И голова старика затряслась еще сильнѣе, и, отчаянно махнувъ рукой по воздуху, онъ слабо опустилъ ее внизъ.

— Нужда, хлѣба нѣтъ, корову продали осенью,—продолжалъ онъ черезъ минуту,—ребятишки-то вотъ и голодные часто сидятъ, а гдѣ взять намъ? Старость вотъ моя одолѣла меня, старость да немочь, а то бы и я поработалъ.

— Что, баринъ, зачѣмъ пріѣхалъ къ намъ?—спросилъ старикъ, опять помолчавъ немного и пытливо глядя въ сторону Николая Ивановича.

— Хотѣлъ посмотрѣть нужду вашу.

— Нужду?! Гляди вотъ. Вотъ они мы, вотъ и жисть наша. Что бабы? Хлѣба-то много заняли у Ивана?

— Вотъ краюшку дали,—отвѣтила молодая баба, взявъ съ полки кусокъ черстваго хлѣба и показывая его.

— Ну, вотъ, и сыты будемъ,—сказалъ старикъ,—и слава Богу... Эхъ, баринъ, а помирать-то всѣ будемъ. Смерть всѣхъ сравняетъ. Что же сына-то, на работу, стало быть? Такъ,

такъ и надо его, дурака, чтобы не попадался въ другой разъ! Только ужъ позвольте ему праздниками дудки-то засыпать, а то онъ сейчасъ занятъ, ночью на шахтѣ работаетъ, а днемъ дрова возитъ...

— А когда же онъ спитъ?—спросилъ Николай Ивановичъ.

— Спитъ! Какое спанье тутъ, когда ѣсть нечего... Вотъ дрова-то отвези барину,—повелительно обратился старикъ къ сыну дрогнувшимъ жалкимъ голосомъ,—чего стоять-то?

И онъ вдругъ закашлялся, закачался на слабыхъ ногахъ такъ, что чуть было не свалился съ наръ на полъ.

— Полѣзай назадъ на свое мѣсто-то,—сказала строго старуха, подскочивъ къ ослабѣвшему старику и руками поддерживая его.—Ишь, старый соловей распѣлся...

— Ладно, ладно...

И старикъ сталъ опять карабкаться назадъ на печку, кряхтя и ложась.

Николай Ивановичъ, не сказавъ больше ни слова, вышелъ изъ избы въ сѣни. Онъ разстегнулъ поддевку и досталъ свой кошелекъ. Десятирублевая бумажка попалась ему,—послѣднія деньги въ карманѣ. Онъ вынулъ и торопливо сунулъ рыжему парню въ руку, вышедшему за нимъ изъ избы.

Парень вытаращилъ глаза, замялся на мѣстѣ, но ничего не нашелся сказать въ отвѣтъ. Только какой-то ни то вздохъ, ни то звукъ, странный грудной звукъ, вырвался у него изъ груди, и, какъ подкошенный, въ третій разъ теперь онъ упалъ на колѣни.

Благодарный, трогательный этотъ звукъ, вырвавшійся у мужика, насквозь пронизалъ душу Николая Ивановича. Онъ почувствовалъ, какъ точно какое-то внутреннее глубокое рыданіе отозвалось въ немъ въ эту минуту, и вдругъ глаза его наполнились горячими слезами.

Часто мигая, онъ выскочилъ на улицу, сѣлъ въ санки и ударилъ возжей по лошади.

Онъ не замѣтилъ, какъ прошло время, и вотъ онъ уже подъѣхалъ къ Трущеву. Онъ ни о чемъ опредѣленномъ не думалъ по дорогѣ, а только кратко повторялъ про себя:

«Нельзя, нельзя разсуждать. Будетъ, что будетъ! Что же разсуждать? Къ чему? Когда даешь мужику, срубившему у тебя березки, десять рублей, какое же тутъ можетъ быть разсужденіе? Какая логика помѣщика? Но надо отзываться, надо быть добрымъ, надо понимать, среди чего ты живешь, чтобы эта жизнь была сносной, возможной. Это главное, первое,—все остальное рядомъ съ этимъ пустяки».

X.

Проѣзжая теперь деревней, Николай Ивановичъ увидалъ знакомыхъ ребятъ, которые весело кланялись ему, называя его по имени. Онъ вспомнилъ о своемъ намѣреніи устроить для нихъ чтеніе съ волшебнымъ фонаремъ, вспомнилъ, какъ онъ раздавалъ имъ коньки, отъ которыхъ теперь столько радости во всей деревнѣ, какъ дарилъ и давалъ имъ читать книжки, и вдругъ опять ему стало радостно на сердцѣ.

Деревню проѣхали. За рѣчкой впереди синѣлъ лѣсъ, а сзади солнце уже скрылось за мельницей. Короткій зимній день темнѣлъ. Вдали кто-то по горизонту ѣхалъ парой гусемъ, и доносился по вѣтру слабый звонъ колокольчика.

Николай Ивановичъ передалъ возжи Семкѣ и сталъ доставать изъ кармана портсигаръ. Семка, старательно правя, сталъ теперь мрачно приговаривать, обращаясь къ кобылѣ вполголоса, точно никто не могъ слышать его или просто самъ не замѣчая того, что онъ приговаривалъ:

— Ноо... Г—но...

Николай Ивановичъ давно уже зналъ эту мрачную прибаутку Семки и, глядя теперь на его серьезное, сморщенное,

старообразное лицо, онъ не могъ удержаться отъ смѣха. Онъ весело и добродушно захохоталъ. Семка откликнулся ему чѣмъ-то въ родѣ смѣха, хотя совершенно не понимая, чему это баринъ вдругъ такъ обрадовался.

Онъ еще громче закричалъ на кобылу, грубо дергая вожжами:

— Ноо... Пошелъ, пошелъ, г-но!

Сонъ.

I.

Я былъ въ концертѣ. Громадный, высокій залъ былъ полонъ народа и ярко залитъ огнями. Вся отборная столичная публика, и понимающая и ничего не понимающая въ музыкѣ, собралась въ этотъ вечеръ прослушать симфонію, которая, говорили, исполняется замѣчательно подъ управленіемъ новаго дирижера. Воздухъ въ залѣ былъ душный, пахло духами и человѣческимъ тѣломъ.

Первая часть концерта, которая состояла изъ нѣсколькихъ мелкихъ нумеровъ, теперь кончилась, и все задвигалось и зашумѣло. Наступилъ антрактъ. Я остался на своемъ мѣстѣ и сталъ прислушиваться къ разговорамъ. Всѣ ждали симфоніи, и многіе говорили о ней. Другіе бесѣдовали о постороннихъ предметахъ. Я сидѣлъ съ правой стороны у средняго широкаго прохода, такъ что все время антракта мимо меня взадъ и впередъ проходила публика. Мнѣ было скучно, и я какъ-то особенно мрачно смотрѣлъ на все въ этотъ вечеръ. Въ каждомъ новомъ лицѣ, которое я видѣлъ, я находилъ что-нибудь дурное, глупое, злое; каждая фраза, каждое слово, которое я слышалъ, казались мнѣ безпощадно пошлыми. Вся обстановка, наряды, лица, разговоры, эта музыка, которую мы только-что слушали и которая поражала своимъ акробатствомъ, технической стороной, а не дѣйствовала на душу, казались мнѣ

невыразимо пустыми и безцѣльными. Мнѣ было не только скучно, но и тоскливо на душѣ и одиноко. Я чувствовалъ, что, если я разскажу кому-нибудь о моемъ настроеніи, меня не поймутъ и развѣ только учтиво улыбнутся. Казалось, всѣ были такъ довольны, такъ пріятно проводили время, что они не могли бы понять меня, особенно здѣсь, въ такомъ многолюдномъ и блестящемъ собраніи. Поэтому я сидѣлъ смирно на своемъ мѣстѣ и не имѣлъ ни малѣйшаго желанія вступить съ кѣмъ-нибудь въ разговоръ. Я наблюдалъ, слушалъ и, признаться, почти ненавидѣлъ человѣчество. Особенно усердно я слѣдилъ за знакомыми, которыхъ у меня было очень много и которые въ этихъ случаяхъ представляютъ большой и особенный интересъ, потому что со стороны видишь въ нихъ иногда то, чего самъ, разговаривая съ ними, никогда не замѣтишь. Я замѣтилъ, напримѣръ, какъ одинъ изъ моихъ товарищей, который говорилъ мнѣ часто о развращенности нашего общества, о его испорченныхъ нравахъ, мелькомъ, но систематически не пропускалъ взглядомъ ни одной хорошенькой женщины, мимо которой онъ проходилъ.

Я замѣтилъ также, какъ мой дядюшка, почтенный, всѣми уважаемый человѣкъ, который при мнѣ не разъ смѣялся надъ угодничествомъ и подлостью на службѣ и рѣзко порицалъ ихъ, проходя мимо одного важнаго общественнаго дѣятеля, отъ котораго зависѣла его будущая участь, не могъ удержаться, чтобы не поклониться ему особенно низко и подобострастно. Я замѣтилъ, какъ одна мать семейства, извѣстная московская матрона, оживленно разговаривала съ молодымъ скрипачемъ, который какъ-то неестественно и нечисто ей улыбался. Еще многое замѣтилъ я и среди знакомыхъ и чужихъ, и мнѣ стало еще грустнѣе. Передо мною были представители всѣхъ возрастовъ, представители лучшаго общества, и, глядя на нихъ, на старыхъ, на людей средняго возраста, на молодыхъ, присматриваясь внимательно къ выраженіямъ ихъ лицъ—зеркалу

души, я видѣлъ вездѣ одно и то же отсутствіе жизни и холодъ. Нѣкоторые озабоченной походкой спѣшили куда-то черезъ залъ, другіе съ улыбкой дѣланной радости встрѣчались другъ съ другомъ, третьи о чемъ-то, точно весело и съ интересомъ, разговаривали, всѣ какъ будто думали, чувствовали, жили; но они не могли обмануть меня въ тотъ вечеръ, я видѣлъ въ нихъ не живыхъ людей, а только плохихъ актеровъ, игравшихъ въ человѣчество. Ничего естественнаго, ничего истиннаго, живого не было въ этой пестрой, шумной толпѣ, собравшейся въ этомъ громадномъ залѣ. Всѣ надѣли на себя какія-то маски и надѣли ихъ такъ искусно и такъ уже давно, что, казалось, привыкли къ нимъ, полюбили ихъ удобное назначеніе и не могли обходиться безъ нихъ; по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось.

Антрактъ прошелъ очень скоро, прозвенѣлъ звонокъ, и публика стала усаживаться на мѣста. Оркестръ уже былъ на эстрадѣ и начиналъ настраивать свои инструменты. Я ждалъ, ждалъ съ нетерпѣніемъ обѣщанной симфоніи и приготовился слушать ее со вниманіемъ. Вся публика, казалось, тоже ждала чего-то особеннаго.

Наконецъ, вышелъ дирижеръ, и послѣ шумныхъ аплодисментовъ все затихло въ безмолвномъ ожиданіи. Музыканты держали наготовѣ свои инструменты и были въ волненіи. Раздался сухой, короткій звукъ палочки о деревянный пюпитръ; дирижеръ обвелъ взглядомъ оркестръ, взмахнулъ руками, и музыка началась. Я поправился на стулѣ и весь превратился въ слухъ.

II.

Началось pianissimo, какъ бы желая привлечь вниманіе слушателей и приготовить ихъ.

Что-то таинственное какъ бы обѣщало раскрыться послѣ этого осторожнаго и робкаго вступленія.

И, дѣйствительно, нельзя было не вслушаться въ это, сначала нѣжное и вмѣстѣ съ тѣмъ сознающее свою силу, начало симфоніи.

И вдругъ запѣла мелодія, вступивъ въ общій, все усиливающійся хоръ звуковъ. Она вкралась какъ-то незамѣтно, но сразу получила первенство, и акомпаниментъ покорно склонился передъ своей повелительницей и сталъ повиноваться ей. Страстно запѣли скрипки дивную пѣсню, сливаясь вмѣстѣ, точно хотѣли соединиться въ одно отъ избытка чувствъ; властно присоединилась къ нимъ могучая віолончель и стала то вторить, то сливаться съ мелодіей; дружно вступили въ общій согласный хоръ другіе инструменты.

Музыка все росла. То она усиливалась, играла громче и быстрѣе, то опять замирала, но съ тѣмъ, чтобы еще шире, еще властнѣе развиться, еще выше подняться. Но вотъ неожиданно мелодія оборвалась. Она дошла до своей крайней высоты и упала оттуда.

Теперь акомпаниментъ игралъ одинъ, словно испуганный и осиротѣвшій безъ своей госпожи. Онъ перешелъ въ какой-то возбужденный, страстный шопотъ, точно звалъ къ себѣ на помощь, точно случилось съ нимъ что-то недоброе. Но вотъ опять спокойно и плавно выбралась мелодія изъ хаоса звуковъ, на время скрывшихъ, потерявшихъ ее, и снова, но еще сознательнѣе и сильнѣе запѣла то, что ей было такъ ясно и такъ понятно.

Я слушалъ не шевелясь, и все существо мое ушло въ звуки. Лихорадочная дрожь все время пробѣгала по спинѣ. Я оглянулся: кругомъ меня весь залъ замеръ, прикованный силой божественной симфоніи.

— Боже мой, Боже мой,—повторялъ я мысленно,—какая сила, страсть, правда...

И слезы умиленія и восторга застилали мнѣ зрѣніе. Вся душа моя пришла въ движеніе, и я заволновался, переполненный трепетомъ и какой-то необыкновенной рѣшимостью.

Всѣ эти люди, сидѣвшіе впереди меня, которыхъ я только-что ненавидѣлъ, казались мнѣ теперь прекрасными, и я горячо ихъ любилъ, какъ братьевъ.

— Да, да, вы правы, восхитительные, необыкновенные звуки, надо дѣйствовать, надо чувствовать, надо любить,—говорилъ мнѣ страстный внутренній голосъ, и еще глубже потрясалось все мое существо, и еще сознательнѣе ощущалъ я въ себѣ новую силу.

И эта сила звала на подвигъ, на самопожертвованіе. Я слышалъ теперь одну только полную огня и убѣжденія проповѣдь, неотступно и властно манившую за собой. И я былъ готовъ слѣдовать за ней, и отъ сознанія этой готовности я чувствовалъ себя счастливымъ.

И вотъ мнѣ показалось, что звуки симфоніи задрожали, заколыхались, словно готовые подняться отъ земли и летѣть въ ту область, о которой они пѣли. Я понялъ, что они дѣйствительно поднимутся сейчасъ и улетятъ, и исчезнутъ навѣки, если мы не послѣдуемъ за ними. На меня нашелъ ужасъ при этой мысли.

— Повинуйтесь, слѣдуйте за мной,—какъ будто пѣла симфонія,—слѣдуйте сейчасъ же, не откладывая, я укажу вамъ истинный путь.

У меня захватило дыханіе. Никогда не ощущалъ я въ себѣ такого волненія. Да, я былъ готовъ на все въ эту минуту. Я хорошо сознавалъ это. Я хотѣлъ закричать въ отвѣтъ тому голосу, который звалъ меня, но въ то же мгновеніе звуки отдѣлились отъ эстрады и медленно стали подниматься вверхъ.

Я быстро всталъ съ своего мѣста, вся публика послѣдовала моему примѣру. Я оглянулся на нее. Испуганныя лица, полныя ужаса и смятенія, смотрѣли на меня. Тогда, переполненный вдохновеніемъ и отвагой, я закричалъ, обращаясь къ толпѣ, окружавшей меня:

— Развѣ вы не слышите, не видите, что надо слѣдовать за ней, что эта музыка ведетъ насъ къ истинѣ, къ добру, къ счастью... Надо сейчасъ, не откладывая, итти за ней...

Голосъ мой оборвался, и звуки симфоніи покрыли его. И въ ту же минуту я почувствовалъ, что ноги мои отдѣлились отъ земли, и я самъ, какъ симфонія, сталъ подниматься вверхъ. Всѣ смотрѣли на меня, широко и растерянно раскрывъ глаза, и медленно стали обступать меня. Я взглянулъ вверхъ и, къ удивленію моему, увидѣлъ надъ собой открытое темное, усѣянное звѣздами небо. Зданіе, въ которомъ мы находились, само собою раскрылось. Вверху надъ головой теперь игралъ невидимый оркестръ, плавно поднимаясь... Я слѣдовалъ за нимъ. Я взглянулъ внизъ и увидѣлъ, что толпа, тѣсно окружавшая меня, теперь стала тоже тихо подниматься вслѣдъ за мной, отдѣлившись отъ земли. Я замѣтилъ, что необычайная перемѣна произошла съ ней. На вдохновенныхъ, взволнованныхъ лицахъ теперь видна была рѣшительность и сіяла улыбка радости. Я понялъ, что всѣ, какъ и я, послѣдуютъ безпрекословно за симфоніей. Сзади всѣхъ двигались музыканты, держа въ рукахъ свои сдѣлавшіеся безгласными инструменты, и казалось по лицамъ ихъ, что они только-что услыхали и поняли смыслъ той музыки, которую сами производили недавно. Мы поднимались все выше и выше за симфоніей и, наконецъ, вылетѣли изъ стѣнъ зданія на широкій, безграничный просторъ. Громадный городъ разстилался подъ нами. Видны были золотыя главы церквей, бѣлыя строенія домовъ, черныя, высокія трубы фабрикъ. Крошечные огни горѣли внизу въ узкихъ, какъ щели, улицахъ; люди и экипажи ползали по нимъ, какъ черныя мухи.

III.

Мы летѣли быстро. Музыка играла впереди еще громче, еще величественнѣй. По мѣрѣ нашего движенія, толпа, лѣтѣвшая за нами, все росла. За музыкантами слѣдовалъ теперь длинный черный хвостъ, конца которому не было видно. Все это были люди... Мы пронеслись надъ городомъ и вылетѣли въ широкую безлюдную степь. Необыкновенно теплый воздухъ, легкій и живительный, пахнулъ намъ въ лицо. Я помнилъ, что была зима, когда я ѣхалъ на концертъ по городскимъ улицамъ, а здѣсь было такъ тепло, и воздухъ дышалъ весною. Но меня не поразило это. Мы опустились ниже вслѣдъ за симфоніей и полетѣли надъ землей, едва касаясь ногами верхушекъ душистыхъ цвѣтовъ, покрывавшихъ степь. Громадная серебряная луна всходила изъ-за горизонта, косыми лучами освѣщая насъ и землю передъ нами.

Я летѣлъ впереди всѣхъ и ждалъ и спрашивалъ себя, куда же приведетъ насъ симфонія. Я твердо вѣрилъ, что она приведетъ насъ къ добру, къ тому идеалу, о которомъ она пѣла. Попрежнему я чувствовалъ въ себѣ необыкновенную силу и рѣшимость. Въ первый разъ въ жизни я весь отдался захватившему меня порыву чувства, забывъ себя, забывъ свое тѣло и личность, и зналъ, что я на все теперь способенъ, на все лучшее въ мірѣ.

Мы двигались быстро надъ степью; сзади все гуще и шире становилась толпа людей, слѣдовавшихъ за нами. Вся степь казалась чернымъ моремъ человѣческихъ фигуръ, плавно двигавшихся по ней. Симфонія разрослась теперь до такихъ размѣровъ, что, казалось, заняла собой весь міръ, пробудила собой все жившее въ немъ къ новой жизни. Ничего на свѣтѣ не могло быть величественнѣе и властнѣе этой музыки. Я видалъ лица людей, ближайшихъ за мной. Они свѣтились надеждой и восторгомъ. Я все ждалъ и сталъ внимательно вгля-

дываться внизъ на землю, надъ которой мы летѣли, чтобы не пропустить того, къ чему вотъ-вотъ, казалось, мы приблизимся. Я зналъ, что симфонія не можетъ пѣть такъ вѣчно, что музыка ея дошла до предѣловъ высоты и красоты и скоро должна будетъ кончиться. Я зналъ также, что вотъ сейчасъ я увижу то, къ чему она ведетъ насъ, и непремѣнно увижу это на землѣ. И вотъ я замѣтилъ, что мы стали опять подниматься выше надъ степью. Это показалось мнѣ удивительнымъ. Мы пронеслись, поднимаясь нѣкоторое время, и вдругъ музыка остановилась въ своемъ движеніи и стала играть на одномъ мѣстѣ надъ нами. Я тоже остановился и посмотрѣлъ внизъ. Подъ нами чернѣла какая-то деревня, мрачная, бѣдная, темная, только съ нѣсколькими тусклыми точками свѣта изъ оконъ избъ. И среди звуковъ симфоніи вдругъ страннымъ, рѣжущимъ ухо диссонансомъ послышался снизу чей-то отчаянный крикъ—больной и безобразный. И вслѣдъ за нимъ раздался чей-то жалобный плачъ. Я сдѣлалъ усиліе надъ собой, что-то ножомъ рѣзнуло меня по сердцу, и неожиданно, какъ камень, тяжело и быстро я сталъ спускаться, почти падать внизъ на землю. Симфонія все еще играла надо мной. Я быстро пролетѣлъ пространство, отдѣлявшее меня отъ земли, и сталъ на снѣжную узкую дорогу среди пустынной деревенской улицы.

Изъ избы направо раздавался все тотъ же безпомощный странный крикъ, слѣва слышался тоскливый плачъ ребенка.

Я оглянулся вокругъ и сейчасъ же понялъ, что стою посреди какой-то русской деревни, среди сугробовъ снѣга, среди горя и бѣдноты.

Сначала я не могъ и не смѣлъ шевельнуться, но, постоявъ съ минуту на страшномъ морозѣ, я почувствовалъ холодъ и, слыша все тотъ же крикъ о помощи справа, пошелъ на него. Я вошелъ въ низкую, сырую мазанку, наполовину занесенную снѣгомъ. Какой-то мужикъ сидѣлъ на лавкѣ и громко кри-

чалъ дикимъ, безсмысленнымъ голосомъ. Глаза его уставились на меня. Онъ бредилъ и покачивался изъ стороны въ сторону всѣмъ туловищемъ. Женщина въ другомъ углу мазанки, худая, желтая, сидѣла, качая люльку и приговаривая что-то невнятное.

— Что это? Гдѣ я? Что съ вами?—спросилъ я мужика, потомъ бабу.

Мужикъ ничего не отвѣтилъ мнѣ, не понимая меня.

— Вотъ, баринъ,—сказала мнѣ баба,—въ горячкѣ мужикъ, сама едва хожу, только встала. Ребятишки. Ѣсть нечего. Помогите ради Христа!

Раздираемый ужасомъ и страданіемъ, я выскочилъ на улицу и сталъ кричать изо всѣхъ силъ, зовя толпу, слѣдовавшую за мной, ко мнѣ на помощь.

Но на улицѣ не было никого. Только звѣзды безучастно и холодно мигали сверху съ темнаго неба.

Ни музыки, ни слѣдовавшихъ за ней людей больше не было. Все исчезло куда-то. И только далеко-далеко вверху я разслышалъ все умиравшіе, отдалявшіеся звуки симфоніи.

Я жадно прислушался къ нимъ, но въ то же мгновеніе они совсѣмъ потухли, и только вѣтеръ со свистомъ пронесся мимо меня по деревенской улицѣ, крутя снѣгъ, а изъ противоположной избы послышался все тотъ же жалобный плачъ ребенка. Тогда я понялъ все.

Я былъ одинъ среди голодныхъ и умиравшихъ отъ нищеты людей.

Сознаніе одиночества и безсилія показалось мнѣ въ эту минуту ужаснымъ.

— Какъ я помогу имъ одинъ? Какъ могли всѣ эти вѣроломные, бездушные люди измѣнить мнѣ въ послѣднюю, самую важную минуту?

Симфонія привела насъ къ этому мѣсту, привела къ этой заброшенной, голодной деревнѣ, нарочно, чтобы показать намъ

се, показать, въ чемъ должно быть наше назначеніе, наша жизнь. И вотъ, только-что мы узнали это, какъ всѣ исчезли куда-то вмѣстѣ съ музыкой... Возможно ли это?

Безсиліе, безпомощность, досада, безграничная грусть наполнили мнѣ душу отчаяніемъ. Я повернулся, чтобы итти назадъ къ мужику, кричавшему въ горячкѣ, но отъ волненія вдругъ проснулся и открылъ глаза.

IV.

Утреннее солнце свѣтило весело въ окно. Мой человѣкъ только-что вошелъ ко мнѣ съ платьемъ и сапогами.

— Пора вставать,—сказалъ онъ учтиво,—долго изволите почивать сегодня.

Я всталъ на постели, посмотрѣлъ на часы и живо сталъ одѣваться. Дѣйствительно, я проспалъ слишкомъ долго, такъ что былъ увѣренъ, что опоздаю на службу, гдѣ меня ждали къ 9 часамъ.

Но я никуда не опоздалъ, хотя и пріѣхалъ въ учрежденіе, гдѣ служилъ, часомъ позднѣе назначеннаго.

Нашъ директоръ любезно спросилъ меня, когда я поздоровался съ нимъ:

— Ну, а какъ же вамъ вчерашняя симфонія понравилась? Вѣдь вы были въ концертѣ?

И онъ улыбнулся, посмотрѣлъ на меня какъ-то лукаво и недовѣрчиво.

Директора я не разъ замѣчалъ вчера въ толпѣ, слѣдовавшей за мной и за симфоніей,—онъ былъ въ бѣломъ галстукѣ и со звѣздой. Даже это я замѣтилъ. Только въ концѣ нашего шествія, незадолго передъ тѣмъ, какъ мы прилетѣли въ голодную деревню, онъ исчезъ куда-то, затерявшись сзади въ толпѣ.

— Да, симфонія замѣчательная,—отвѣтилъ я ему,—только не знаешь, зачѣмъ слушаешь такія вещи. Слишкомъ разстраиваетъ нервы.

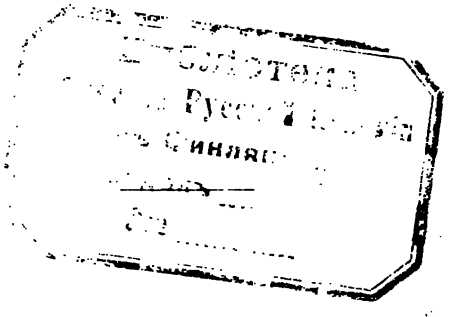
— Ахъ, какой нервный, скажите,—сказалъ директоръ.— Я думаю,—продолжалъ онъ,—для того намъ надо слушать хорошую музыку, чтобы хоть въ воображеніи душой подниматься иногда надъ нашими дрязгами, надъ треволненіями житейскими.

И, улыбаясь, онъ сталъ разглаживать выхоленные усы.

Онъ былъ противенъ мнѣ въ то утро. Я отошелъ отъ него и сѣлъ на мое мѣсто.

— Да, вотъ она, вся эта толпа, обманувшая меня во снѣ,— думалъ я, со злобой и презрѣніемъ оглядывая нашихъ желтолицыхъ и жалкихъ чиновниковъ,—развѣ они могутъ послѣдовать до конца за вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, развѣ они способны отдаться чувству до самоотверженія, развѣ способны оторваться отъ своихъ столовъ, отъ насиженныхъ мѣстъ для новаго, великаго всеобщаго подвига? А я самъ? Развѣ не тотъ же ли я человѣкъ толпы, способный развѣ только во снѣ подняться выше общаго уровня, отдаться высокому и благому порыву? Но я не хотѣлъ вѣрить въ послѣднюю мою мысль. Не хотѣлъ признать моей слабости.

Я закурилъ папироску, взялъ дѣло, еще не просмотрѣнное мной, и сталъ его перелистывать.



Stanford University Libraries
3 6105 124 451 183

19 LV

PG
3476
T65P7
1900

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.